

Виктор Голков

**СОШЕСТВИЕ
В ХАНААН**

Стихи 1970 – 2007



Jerusalem

2007

УДК 821. 161. 11
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5

Виктор Голков
Сошествие в Ханаан

Избранные стихотворения 1970-2007 гг.

Издательское содружество А. Богатых и Э.Ракитской (Э.РА).

Иерусалим – Москва, 2007 – 170 с.

Viktor Golkov
To Descend to Canaan



ISBN 978-5-98575-247-2

Виктор Голков

e-mail: evgarm@gmail.com

© All rights reserved to Viktor Golkov, Jerusalem 2007

Design & Illustration by
Vitali Minin – UnAtomic studios
www.unAtomic.com



ШАГ К СЕБЕ

1970-1989

Осень

Осень словно ремнем опоясывает,
Ничего не вернуть, не убрать.
Август тени на сердце отбрасывает,
Продолжает сентябрь догорать.

Лишь закат утонул, как безжизненно
В мутной дымке белеет рассвет.
Что ты можешь? Смотреть укоризненно
Уходящему прошлому вслед.

Виновата ли в том, что, как палые,
Листья вяну, что бьет меня дрожь?
Ты сама, бесконечно усталая,
По садовой тропинке идешь.

Склонили старческие головы
Деревья в лиственном пуху,
И тускло небо цвета олова
Маячит где-то наверху.

Октябрь – начало увядания,
Мерцанье первой седины.
И белые большие здания
Стоят, как жизнь, обнажены.

Откуда эта ясность строгая,
Сменившая огонь и зной ?
Равнина тяжкая, пологая
Висит, как камень, надо мной.

Змеиная кожа

Сорвал я рассохшейся кожи
Давно изжитые слои,
И были на струны похожи
Узоры моей чешуи.

А рядом чернела изнанка,
Не зная, что ей скрывать.
И лопался образ, как банка, –
Ему уже мной не бывать.

И что-то глубинное, злое,
Блестящее, словно стекло,
Невидимо делаясь мною,
Вплотную меня облекло.

И словно фонарь у дороги,
Что вьется, длинна и узка,
Мучительной полный тревоги,
Сверкнул холодок тупика.

В мое лицо глядят провалами
Два черных выбитых окна.
Цветами трафаретно-алыми
Пестрит разбитая стена.

Фольга конфетная, блестящая,
Куски проводки вкривь и вкось.
И чувство жалобно-щемящее
Идет через меня насквозь.

На месте детства только впадина
За этой сломанной стеной.
Все то, что временем украдено,
Сейчас прощается со мной.

В поколении самом старшем
смерть грохочет, как молоток.
И уходят походным маршем
те на запад, те – на восток.

Полосой растянувшись тонкой,
в чёрной речке находят брод.
Словно старую киноплёнку
прокрутили наоборот.

В год досталинский, довоенный,
где ни имени, ни утрат.
А над площадью всей вселенной –
синих звёзд ледяной парад.

Цепью воронья процессия тянется
И оседает на гребне холма.
Вспомнится всякому, кто ни оглянется,
Слово старинное – тьма.

Длинные, узкие снежные полосы
У искореженных временем хат.
Тихо кусты шевелятся, как волосы,
Там, где кончается скат.

Даже зимой непрерывно растущие,
Корни проходят сквозь землю, как сталь.
Сердце, как тучи, на север идущие,
Хочет в холодную даль.

Кажется, о чем-то говорили,
Или с веток падали листки?
Голову я поднял: звезды были,
Как всегда, чисты и высоки.

Только что мне это их раздолье?
Я навеки, намертво прирос
К той земле, какую черной солью
Покрывают реки наших слез.

И куда бы ни вела дорога,
Я не брошу дома моего.
Тот, который носит имя Бога,
В сердце тех, кто верует в него.

Мороза нет, но лед не тает.
Покрыли трещины кору
Деревьев. Кажется, светает,
Туман редет поутру.

Уходит ночь неслышным шагом
Туда, где мрак еще царит
Над буераком и оврагом.
А здесь уже заря горит.

И снято сонное заклатье
С природы – появлением дня.
И тополя стоят, как братья,
Стволы друг к другу наклон.

Свет рассеянный, зыбкий и блеклый.
Спят деревья, стволы наклона.
Покрывает испарина стекла
В час рождения нового дня.

Он проходит обычный, рабочий,
По земле, незаметен и тих.
И сжимаясь в преддверии ночи,
Он похож на собратьев своих.

Краткий путь от рассвета к закату,
Вдаль со свистом летят поезда.
И огнем серебристым объята,
Загорелась ночная звезда.

Роща

Роща в осеннем убранстве,
Пышный и грустный наряд.
В сером застывшем пространстве
Ключья тумана парят.

Светится тускло и медно
Плотная леса гряда.
Скоро, растаяв бесследно,
Лето уйдет навсегда.

Листья, шуршащие сухо,
Воздух как будто седой.
Черная ива – старуха,
Сгорбившаяся над водой.

Пробегают мысли, как собаки, --
Стаями, а та бредет одна...
В этом сизом, хлюпающем мраке
Светятся, как лица, имена.

И внезапно различает зреньё –
След звезды, косая пятерня.
И живет мое стихотвореньё
На земле отдельно от меня.

Подбираясь полуощутимо,
Стелет стужа белый гололед.
И стучит судьба неотвратимо
Ставнями все ночи напролет.

Даль, покрытая туманом,
кочки, листья и трава.
Хоть оптическим обманом
Кажешься ты, но жива.

Неоконченный набросок –
Ни движенья, ни души.
Смутных мыслей отголосок
Нахожу в твоей тиши.

И негаданно – нежданно,
Влившись в белизну твою,
Вижу суть, что, безымянна,
Спит у сердца на краю.

Пытаясь скрыться от дождя,
Друг к другу листья прилипают.
А капли хлещут, наступают,
Как грабли землю бороздя.

Они текут, ползут, летят,
И я уже смотрю сквозь воду
На эту мутную природу,
На этот беспросветный ад.

Кто день от ночи отличит
На клейкой и размытой суше?
И все сильнее, резче, глуше
Как ливень, в сердце кровь стучит.

Прорасти – непростое слово,
это корни пустить в гранит.
Песня вольного птицелова
и в железном мешке звенит.

Как барак из нетесаных бревен,
оцепенье бесформенных туч.
Перед веком ни в чем не виновен
золотящийся солнечный луч.

Даже если он сделал прекрасным
совершенно бессмысленный хлам.
И в своем ослеплении страстном
разорвалась душа пополам.

Тумана матовая просинь
Лежит у поля на груди.
По черствым комьям в эту осень
Не били долгие дожди.

Она до старости бездетна,
Всю жизнь чего-то прождала.
Сухая горечь незаметно
На облик осени легла.

Нет, с плеч суму уже сбросит,
Ведь юность не возьмешь взаимы.
Лишь ветер до нее доносит
Дыханье тяжкое зимы.

Сдавило землю костяком,
Она промерзла до середины.
И веток сморщенным венком
Обезображены седины.

Кусты, кусты, кусты, кусты
И сучья, острые как гвозди.
И нависают с высоты
Ворон чернеющие гроздьа.

На стеклах ледяная пыль
Как голубая поволока.
И выпучил автомобиль
Свое серебряное око.

Хочу я быть травой зеленой,
Растущей из самой земли.
Упрямо, слепо, исступленно,
Хоть тысячи по мне прошли.

Ни вечных тем, ни острых граней,
Ни истин, отроду пустых.
Хочу я не иметь желаний,
А быть простым среди простых.

Пусть человек свою кривую
Дорогу назовет судьбой.
Я полновесно существую,
Не видя бездны под собой.

Как, ночь, ты быстро пролетела!
Я утренний встречаю мрак
Лицом к лицу. Дрожит все тело,
Рука сжимается в кулак.

На стенах – скрещенные тени.
Как тускло фонари горят,
Как неразборчиво сплетенье
Деревьев, выстроенных в ряд.

Включился мозга передатчик,
Неважно греет палеццо,
И думает ноябрь – захватчик
Замкнуть промозглое кольцо.

Иванушка

Было жарко, не зная, откуда напиться,
На земле я увидел следы,
И из круглого козьего выпил копытца
Перемешанной с ядом воды.

И внезапно упало с меня все людское,
Все, что было мной годы подряд.
И мне стало понятно наречье такое,
На котором вокруг говорят.

И услышал я крик осторожной синицы,
Бормотание древних стволов.
И вошла в мое сердце, ломая границы,
Радость жизни, лишенная слов.

Мой таинственный лес, мое черное поле,
Я на вас не смотрю, как слепой.
Про высокий восторг человеческой доли
Ты, Аленушка, песню не пой.

Так, словно доживаешь сотый
Век на земле, тебе знаком
Железный пульс ее работы
И каждый куст, и каждый дом.

Как странник с нищенской клюкою
Полсвета обошел, скорбя.
Тебе известно, что такое –
Ни в чем не обрести себя.

Лишь не встречал другого края,
Где был бы воздух тяжелей,
Чем сладковатая, сырая
Промозглость родины твоей.

Ты ею вдоволь надышался –
По хрип ночной и тошноту.
Тебе от родины остался
На память – горький вкус во рту.

Ты для нее не существуешь,
Мгновенно промелькнувший блик.
Но ты ведь больше не тоскуешь
К ночной бессоннице впритык.

Качались люстры, хрусталем брэнча,
И в зале голубом собаки грызли кости.
Хозяин этих мест на лезвии меча
Держал всю ненависть угрюмой черной кости.

Хватались гости за бока
От шуток остроумных, а покуда
Им было весело, носили слуги блюда,
И люстра яркий свет бросала с потолка.

И среди пьяных он бесстрастен был, как Будда,
Лишь крепко под столом сжимал эфес клинка.
Пока дурак смешил другого дурака,
Пока его жена была с другим, пока
Сам ждал измены отовсюду.

Монах

От блеска роскоши языческой
Глухим отгородился мраком.
Восторг души его стоической
Не оценить мирским собакам.

Все суета: и грязь словесная,
И похоть мелочных желаний.
Он выковал броню железную
От искушений и страданий.

И век весь плоть сластолюбивая
Терпела боль в холщовой рясе,
Томясь, голодная, блудливая,
Хоть об одном распутном часе.

Вернулись средние века,
вернулось время эпидемий.
И снова черная рука
Секиру занесла над всеми.

Секира, ты блестяшь, остра,
Тебя затачивали боги.
И безнадежная пора
Застыла молча на пороге.

Природа борется со мной,
Меня болезнями пытается.
А я – я выкормыш земной,
Как всё, что в мире обитает.

Какой-то маленький штришок
Однажды выжить не позволит.
И бред про черный порошок
Мой раскаленный мозг расколет.

Судьба

Как женщина с усталыми глазами,
Стоит она, одна среди дорог,
Со старыми песочными часами,
Откуда в дыры вытек весь песок.

Столений шаль уже не греет плечи.
Стоит она и ждет на полпути
Какой-нибудь, хотя б минутной встречи:
Ей просто больше некуда идти.

Как нищенка, протягивает руку,
Хотя вовек не нужно денег ей.
Пусть знает все, вдохнув позор и муку,
На миг, на вздох приблизившийся к ней.

Расплескались по ветру знамена кровавых боев.
Улетело вперед щебетанье веселого горна.
Эта песня окрашенных кровью ручьев
В чистой злобе, как гордая чернь, непокорна.

Листья дрожью окутаны, в радужном пухе стволы.
Знать бы, что за болезнь подкосила могучее древо.
Камни падают с неба, всей тяжестью давят валы –
Не укрыться в тени от далекого злого напева.

Это век бесноватый, горланя на сто голосов,
Навалившись, расплющит изыск благородных беседок.
Захлебнуться бы рокотом каменных мощных басов,
Черной крови почувствовав яростный ток напоследок.

Не потащат под топор
Тех, кого окликнешь гневно.
Взгляд пронзительный в упор –
Не царица ты, царевна.

Кто припал к твоей руке,
Нынче воронова пища.
Глянь, в туманном далеке
Мертвецы – за тыщей тыща.

Выжег им глаза палач,
Кости раздробил дубиной.
Только твой сиротский плач
Не услышал ни единый.

За грехи ответ держи,
С тьмой должна соединиться
Эта жадная душа –
Не царевна, а царица.

Диоген

На вечность едва ли рассчитывал,
А значит, не видел нужды
Свой дом, свою бочку разбитую
Беречь от любви и вражды.

Дождинок тяжелые фракции
Ронял иногда небосклон.
Он светом бесстрастной абстракции
От холода был защищен.

Пусть рушится твердь поднебесная,
Всю землю пусть морем зальет,
Коль с разумом вместе воскресну я,
Когда мое тело умрет.

Раб

Кричат подвыпившие шлюхи,
разносится кабацкий смрад.
И как назойливые мухи,
«Подайте», – нищие хрипят.

Закат в багровом ореоле,
и желчь по небу разлилась.
Всё пожелтело: роща, поле,
деревья, люди, камни грязь.

Вот день, покрытый чёрной гарью,
уходит под сивушный бред.
И вечер сладковатой хмарью
окутал всё вокруг – весь свет.

Почти не дышит раб распятый,
от бесконечных мук устав.
Как ангел вечности крылатой,
висит он, руки распластав.

И видит гордая элита
и перепившаяся голь:
из тела, что к столбу прибито,
по капле вытекает боль.

И языки сплетает пламень
над факелами. Чернь свистит,
и в мёртвое лицо летит
и глухо ударяет камень.

Старинные портреты

В том зале, где тени скользят над паркетом,
блуждает мой взгляд по старинным портретам.
Слой лака покрыл, незаметен и тонок,
надменные лица панов и панёнок.
И я созерцаю спесивые позы
и скрытые в тонкой насмешке угрозы.

Луч вынырнул, как бы случайно, из мрака.
Охотничья нюхает воздух собака.
Узор на камзоле, колье и мониста
сверкают светло, равнодушно и чисто.
Нет, здесь ни один не слышал, безусловно,
о сумрачной страсти и пытке духовной.

И вздрогнул я в страхе, почти суеверном:
так много знакомого в жесте манерном.
И я с удивленьем следил молчаливым
за этим лицом, притягательно-лживым.
А жадные губы, казалось, готовы.
шепнуть мне одно ядовитое слово.

Игрок

Он просидел всю жизнь за карточным столом,
где и сейчас сидит, и даже по одежде
заметно – он игрок, сегодня, как и прежде,
забывший о себе, идущий напролом.

Здесь много сотен раз он искушал судьбу,
когда лицом к лицу встречался с мрачным роком.
Но опускаясь вниз, в падении глубоком
и потерявши всё, не прекратил борьбу.

Когда, как на костре, сжигал его азарт,
охваченный больно, нечистоплотной страстью,
он всё-таки бывал гораздо ближе к счастью,
чем те, кто никогда не брали в руки карт.

Александр

Бессильны лучники, они обречены –
загородимся мы щитами.
Вот наши грузные, как крепости, слоны
заколыхались над плотами.

Разъята Персия, лишь Индия вдали
глаза сощурила лениво.
Изыди заживо, восстань из-под земли,
всё так же улыбнётся криво.

Темна ты, Индия, таинственна, смугла,
нашла оружие иное:
от тела моего останется зола,
и сердце растворится в зное.

И руки чьи-нибудь тебя замкнут в свой круг,
откуда даже Ганга водам
вовек не вырваться. Лишь изредка, лишь вдруг
меня припомнишь мимоходом.

Самоубийца

В гостиничном, заплесневевшем смраде
как будто задремал у кресла на полу,
лишь модный чемодан поблёскивал в углу,
да шевелил сквозняк страницами тетради.

Кто может знать, куда девается душа,
и где ушедший дух пристанище находит,
когда он здесь лежит, плашмя и не дыша,
пока сюда людей привратник не приводит?

Быть может, это жизнь колеблет бахрому
у скатерти, дрожит на смятом одеяле,
что складкою любой принадлежит ему,
пока его вещей ещё не разбирали.

Хотя могла б уйти сквозь запертую дверь,
но ждёт, пока от губ приказа не услышит.
Кто может знать о том, что именно теперь
живёт, хоть третий час, как умер и не дышит?

Конница

Конница по склону уходящая,
красная полоска вдалеке.
Музыка простая и щемящая
да цветок, зажатый в кулаке.

Синей дымкой даль не затуманится,
в алый цвет окрасился закат.
Подожди, пускай она утянется
по степи, к реке, за перекат.

Пыль уже не вьётся над подковами,
а глаза ещё чего-то ждут.
Подожди, через минуту с новыми
песнями совсем они уйдут.

Творчество

Осколок скалы волоча,
свой грех искупает безгласо.
Два сгорбленных острых плеча,
и стёрлись ладони до мяса.

Слепой, изнурительный труд –
как ямы, чернеют ключицы.
Свой камень уронит он тут
и снова за ним возвратится.

И вот, как огнём опалён,
стоит он на склоне пологом.
Забытый и проклятый Богом,
едва ли раскаялся он.

Он больше не видит, что крут
подъём, лишь хрустят сухожилья.
Из боли, труда и бессилья
рождается творчество тут.

Сто тысяч лет за годом год
в стремленье неуклонном
в нас клетка каждая живёт
единственным законом.

И длится танец хромосом,
чей смысл для сердца тёмн,
и клетки маленькой фантом
в самом себе огромен.

Но миллиардов жизней сплав,
цепочка, вереница,
сам человек, себя познав,
своих глубин боится.

чтобы живое вещество –
любовь, надежда, жалость,
под взглядом пристальным его
на части не распалось.

Связь

Долгий, извилистый путь –
может лишь первый напев.
Необозримый рельеф
краем означился чуть.

Белую цепь облаков
взглядом прорвал телескоп.
Бешеный виден галоп
странных далёких миров.

Времени зыбкая вязь
сбилась в комок небольшой.
Между звездой и душой
есть ли какая-то связь?

Прежде не знавший границ,
я родился, как и ты,
из темноты, пустоты
и безымянных частиц.

Тёмная комната, смятое платье –
объятье.
Но расплетаются руки и ноги
в итоге.

Может быть, мысль зарождается тоже
похоже
из двух начал в их едином желанье –
слиянье.

Новорождённую мысль от себя
отторгаю.
Месиво слов я выталкиваю,
а не слагаю.

И как за близостью следом идёт
отчуждение,
мысль мне враждебна, прошедшая через
рождение.

Грех

В шелестах и шорохах, и скрипах,
в том, что с виду смутно и мертво,
в тёмной влаге на столетних липах
жизнь своё скрывает естество.

И когда нечаянно коснёшься
или тронешь краешком стиха,
то в поту холодном ты проснёшься
с ощущением смертного греха.

Всплеск духовный, жажду обладанья
вырвали как сорную траву,
но не гаснет огонёк страданья:
если я страдаю – я живу.

Ещё один рывок –
и Бог.

Вот оно божественное провидение –
ночное бдение.

Со всей болью, что во мне скрыта,
на последнюю орбиту.

А когда превращусь в метеор,
услышу ангельский хор.

И ознаменует моё превращение
гравитационное красное смещение.

В эту ночь, когда ещё далеко до рассвета,
я лежу и слушаю дробь дождевую.
Дождь шагает, скользя по мокрому парапету,
и срываясь, ударяется о булыжную мостовую.

И я вздрагиваю при каждой короткой вспышке
после которой темноты становится больше.
И мне кажется, что один я в этом городишке
где-то неподалёку от Румынии и от Польши.

И душа моя скрывается под оболочкой,
уходит в тень, как за кулисы артистка.
Уснуть, забыться, поставить точку,
покуда рассвет ещё не близко.

Отчуждение

Вот отчуждение – я говорю не о том,
что появляется только в минуту прощанья.
Нет, отчуждение – это размежевание
сердца. Лицо моё сжатым разрезано ртом.

Страсти уходят: безмолвный, прощальный парад.
Вновь отчуждение – горечь души обнаружу.
Чувства стареют, а может – становятся уже,
им не к лицу уже слишком просторный наряд.

Жизнь или смерть – нет возможности их разделить.
И отчуждаюсь от боли, от скорби, от смуты.
Время идёт, и звенят ледяные минуты,
я отчуждаюсь от жажды, которую не утолить.

Замыслы

В начале едва трепеща,
незаметные, полубесплотные,
проходят, всё под собой топча,
мысли мои, вещественные, как животные.

А в низинах мозга не горят огни –
ничего не увидишь в кромешной темени,
и, прижавшись друг к другу, молча идут они,
к голове голова – неизвестно какого племени.

И проводит борозду невидимый плуг,
и от чёрного рта отделяется дыхание.
Замерзает любовь, уходит испуг,
и как рожь из земли вырастает знание.

Люди

Вокруг меня разные люди –
Елены, Ивановы, Петры.
Как листья в рассыпчатой грядке,
соседей наши миры.

Что разом приходят в движение,
как только дохнет ветерок.
И сухо шуршат отношенья,
любовь, справедливость, порок.

Но вдруг как захлопают флаги,
и краска сползает с лица,
и нету названья для тяги,
терзающей наши сердца.

А утром царапает еле
луч солнечный, словно игла,
измятую кипу постели
и жёлтую плоскость стола.

Глухие времена – как ласточка над кручей.
Мы выстроили дом, а под ногой – обрыв.
Нас омывает газ своей волной горючей,
и туча в вышине синее, как нарыв.

И неуютно нам от непомерной мощи,
и непонятно как распорядиться ей.
И тяжело шумят изрезанные рощи,
угрюмо разбросав сцепление ветвей.

Но как бы ни было, наперекор всем взрывам
вперёд мы движемся – всё так же, напролом.
Подобно ласточкам над гибельным обрывом –
тысячетонные, стальные гнёзда вьём.

**В толчее мечусь я, в толчее,
словно рыба в крошечном ручье.
Раздирает в кровь мои бока
острие чужого плавника.
И с трудом я вижу сквозь слои
ртуть и фосфор чьей – то чешуи.**

**Ненавижу эту толчею,
смысл её – чужих не признаю.
Ненавижу грязный водоём,
радостный в ничтожестве своём.
И когда мешает плыть мне мель,
засоряя жаберную щель.**

**Так позволь, позволь же, толчая,
не хлебать из твоего ручья,
И пусти, пусти меня туда,
где большая, чистая вода.
Где не смогут эти или те
изводить друг друга в тесноте.**

**Спасибо времени за то, что автоматной
строкой прошитый по-немецки аккуратно
в траву не падал я, убитый наповал.
За то спасибо, что я сам не убивал,
за то, что в руки мне никто оружия не дал,
в минуту слабости за то, что я не предал.**

**Спасибо времени за то, что лебеду
не ел я с голоду и не хрипел в бреду.
За то, что в камере под пыткой не скончался,
за то, что в полночь на осине не качался,
за то, что газовой отравы не глотал,
за то, что Родине изменником не стал.**

Спасибо, мёртвые, лежащие в могиле,
все те, кто сгнули, исчезли, не дожили,
перезабывтые, зарытые во рву,
за то, что вижу я вот эту синеву.
За то, что та судьба, какая вас пытала,
меня колёс четвёркой в глину не втоптала.

Две тонких линии рассвета,
и фонаря блестящий знак.
До нитки даль была раздета,
и грунт от сырости размяк.

Повисло утро шапкой белой
на ветках хмурых тополей.
Земля разбухла и просела,
как будто стала тяжелей.

И вот над зданием вокзала
померк малиновый неон,
и захрипела, зажужжала
жизнь, захлестнувшая перрон.

И гулким, многотонным басом
взревев, рванулись поезда.
А с неба, вырванная с мясом,
сползала мёртвая звезда.

Сказала, досадливо морщась:
«О господи, вечная грязь»
Чернел одиноко топорщась
кустарник, дорога вилась.

С поверхности глинисто – бурой,
клубясь, испаренья ползли.
Казалось, что эти фигуры –
фантазия этой земли.

До тех пор поодиночке
идти предстоит в тишину,
пока мы, две чёрные точки,
вдали не сольёмся в одну.

Как на последнем краю
голых ветвей паутина.
В тёмную гущу свою
Манит, как блудного сына.

Кажется, всё наконец
стало яснее и проще –

через неё, как слепец,
я пробираюсь на ощупь.

Веки туман облепил
плотно крылами своими.
Вот я уже и забыл
всё про себя, даже имя.

Сушь

Сушь великая – солнце в зените,
целый месяц ни капли воды.
Кое-где лишь на красном граните
обозначены солью следы.

Нет спасенья под кровлею дома:
всюду зной, от него не уйдёшь.
И встаёт огнедышащим комом
раскалённого марева ложь.

Чувств удушливых вспомнилось пекло,
сквозь какое пройти мне пришлось.
И увидел я – небо поблекло,
проводами распорото вкось.

Это так, от меня не завися,
придорожный засох водоём.
И осколки разрезанной выси
улеглись в изголовье моём.

Акация в чёрных разломах,
нависшая словно скала ...
И я был среди насекомых,
ютившихся в складках ствола.

Впитавший чужую идею,
неслышно возник и исчез,
и белый цветок – орхидея –
раскрыл надо мной свой навес.

Но мизерный в мире великом,
песчинка земной голытьбы,
стоял я пред огненным ликом
и яростным оком судьбы.

Чтоб в прорву, которая снизу
толкает свои жернова,
швырнуло бессмысленный вызов
тепло моего естества.

Дождь

Ненастье скучное, бесчисленные струи
бьют, как спицрутены, ломаясь на весу.
Дождь продолжается, я на себе несу
сырой одежды груз, глотая пыль сырую.

Отяжелело всё: под этот мерный стук,
чтоб спать без просыпа, не нужно люминала.
Земля разжижилась, и плоть травы восстала
и в чёрных оспинах фонтана тесный круг.

Природы сумерки, затмение ума.
Зигзаг мучительный – не молнии удар ли?
И всё по-прежнему: стекло, обрывок марли
и веток мокрая, густая бахрома.

Жара

Как спастись от жары

в этот душный июльский денёк?

Испарения трав, изнурительный зной, солнцепёк.

Утомлённо – замедленно света вершится игра.

Может быть, ближе к ночи немного ослабнет жара.

**Жизнь клокочет сердито, и воздух горчит на губах,
и горячая влага темнеет под ситцем рубах.**

Тень, гранича со светом, вдали образует черту,

и вершиной округлой вонзается клён в высоту.

**А жара торжествует, над пыльной землёю царя,
и огромное солнце повисло, над нами горя.**

**И дышать всё труднее, и кажется, что никогда
белым светом не будет лучиться ночная звезда.**

О, рождённые зноем, в глазах золотые круги!

В этот яростный полдень, как в полночь,

не видно ни зги.

Только слышно, как ветер пробился

сквозь листья гурьбу

да как катятся капли, скользя по морщинам на лбу.

А над озером спящим холмы окунулись в траву.

В этот полдень горящий острой сознаю, что живу.

И как ива ветвями к воде прикоснуться спеша,

погружается в жизнь, забывает о жизни душа.

Голос

Мы красили ограду в серый цвет
и вытирали руки то и дело,
а краска застывала и твердела,
и мы жалели, что бензина нет.

И вдруг откуда-то из глубины
донёлся звук, тягуче и фальшиво
запел старик, и в голосе визгливом
весь утонул звенящий гул весны.

Не умолкал пронзительный фальцет,
и с ветром прочь мотив не уносился.
Как тот, кто мёртв, обратно в жизнь просился,
а Бога нет, и вечной жизни нет.

Клубился май в сиреновом цвету,
любить и верить без конца способный,
а голос рвался на куски, подобный
на злом ветру дрожащему листу.

Огни

Цепь огней – серебряные дыры,
тишины кочующий ковчег.
Словно где-то на окраине мира
жжёт костры последний человек.

Холод почвы ощущают ноги,
никого в ночи не повстречать.
Голоса надежды и тревоги,
и любви – не хотят молчать.

И над тихим маленьким селеньем,
над разбродом низкорослых хат
звук дыханья и сердцебиенья
вырастает в грозовой раскат.

Тополя вырастают из туловища земного,
шарят корни под спудом, в горячих потёмках земли.
Расстилается степь, живое растёт из живого,
и по мозгу миражи путешествуют, как корабли.

Ни концов, ни начал – лишь биение мерное вёсел,
паутины пушистое, вибрирующее волокно.
Коль забыл обо всём, словно тяжкую ношу отбросил,
будешь жить и любить
сто рождений подряд всё равно.

Для добра и для зла нет иного судьи, кроме веры.
Рядом с чистой гармонией хмуρο маячит разброд.
И из самой бессмысленной, самой безумной химеры
возникает легенда, прозрачная, как кислород.

Тяжеловесный свет на части землю режет,
морщинами изрыт со всех сторон курган.
Таинственная жизнь, я узнаю твой скрежет,
в который иногда вплетается орган

Уходят в высоту стволы глухонемые,
в чешуйчатую зыбь оделся чёрный пруд.
Всё то, что я люблю, сейчас беру займы я,
но страшно оттого, что завтра отберут.

Сияющий Эдем, дворец из паутины,
горбатый коридор, как каменный подвал.
А в узеньком окне лишь контур бригантины,
плывущей в те края, где я не побывал.

Баллада

Четыре женщины в халатах тёмно – алых,
в косынках ситцевых влекли меня вперёд.
И так мертво и немо плоть моя лежала,
что было странно думать – сердце не умрёт.

На клетке лестничной стоял я безучастно,
где над перилами клубился серый смог,
и самого себя, должно быть не напрасно,
я по ступенькам вниз перенести помог.

Так речь молдавскую перемежая русской
и пересмеиваясь, мы несли меня,
когда уже в конце замедленного спуска
с моих носилок соскользнула простыня.

И я узнал себя, и всё, что окружало,
пустилось в плаванье, качаясь взад – вперёд
И, в прах поверженная, плоть моя лежала,
но было ясно это – сердце не умрёт.

Кай

Найдите средство мне, чтоб усыпило боль
и оживило кровь, текущую по жилам:
то зеркало опять разбил кривое тролль –
осколком мне глаза и сердце ослепило.

На этот раз помочь ни свежестью лица
не сможет Герда мне, ни верностью бесплодной.
Раскладывать теперь я буду без конца
узоры – я в долгу у вечности холодной.

Я выколочил на льду холодные цветы
мимозы ледяной и ледяной сирени.
Когда душа ко льду примёрзла и – колени,
куда деваться мне от этой красоты?

Остров сирен

«Я вам повторяю: безумие это заразно,
ладонями уши от всякого звука замкните.
Меня не жалеите, вы к мачте меня привяжите –
хочу испытать я жестокую силу соблазна.

... вот странное чувство меня целиком охватило:
восторг и блаженство, печаль, обречённость, кручина.
Повеяло холодом – словно сырая могила
объятья свои раскрывает морская пучина.

Морские бродяги! Хочу я продать мою душу!
Бессмертная слизь, на разлуку с тобой уповаю!
Проклятую сказку про всеми забытую сушу,
где так и не умер – про Итаку я забываю».

Он больше не стонет, молчит безучастно и скорбно,
лишь насквозь от пота промокла льняная рубаха.
Хоть солнце в зените, но море по-мёртвому чёрно.
Лети, наше судно, от этого острова страха.

Гадалка

Высохшая, тощая, как палка,
с вековой скорбью на лице,
ты стоишь, как старая гадалка,
женщина в потёртом пальтеце.

В сторону глаза свои скосила,
плотно сжался тонкогубый рот.
Неужели есть такая сила,
что тебя от вечности спасёт?

Тишина, лениво шевельнулась
тень на листьях, цвета янтаря.
Может там, откуда ты вернулась,
всё ещё дымят концлагеря?

Может быть, твоих сестёр и братьев
топят там, как бешеных собак,
и клинок с неистовым проклятьем
над тобой заносит гайдамак?

Мир ли светлый впереди ты видишь
или сына обгорелый труп?
Твой картавый, полумёртвый идиш,
как слюна, соскальзывает с губ.

Еретик

1

Дрожал при каждом шаге мерзкий балахон,
и дьявол на груди как будто усмеялся.
Он слышал хриплый рёв и свист со всех сторон,
и ядовитый чад вдыхал, и задышался.

А пот слепил глаза, стекающий со лба.
Он тело нёс с трудом, уставшее от пыток.
Поодаль от него теснилась голытьба,
и человек читал какой-то длинный свиток.

Ещё в его ушах звенело «Отрекись!»,
когда исчез монах, на смерть его крестивший.
Он в этот час почти не вспоминал про жизнь
и не жалел о ней, всегда её любивший.

Хотя и не был мёртв, но жить уж не желал,
лишь боль со дна души,
как жёлтый смерч, вздымалась.
И виден за сто вёрст его костёр пылал,
и чёрной пеной гарь
в пространство поднималась.

И туча тяжело висела над землёй,
над пышной нищетой и нищенской юдолью.
И шёл всю ночь подряд дождь пополам с золой,
сухой комок земли кропя водой и солью.

И в некоем далеке, где мрак и пустота,
и где молчание печально и сурово,
однажды родилась гигантская звезда,
как отблеск пламени, горящая багрово

2

Я наверху: смотрю, полоской тонкой
чернеет море где – то вдалеке.
А солнце, словно, облепили плёнкой,
и тень гвоздя скользнула по руке.

Здесь, вне земли, я помню привкус боли,
и на язык, что чёрен стал и сух,
как хлопья снега, как крупички соли,
летит пушистый тополиный пух.

Я помню звук шипящий – это ветер
свистел в ушах, и капало со лба.
И та любовь, которой нет на свете,
пришла к подножью моего столба.

Милош Обилич

Достанет и меня турецкий ятаган,
на поле Косовом лежать я буду тоже.
Повисло облако, слегка на нож похоже,
на тот, которым ты убит был мной, султан.

О Сербия моя, ты девочкой босой
прошла через века – как страшно крик был тонок!
Рассёк твоё лицо удара след косой,
и не узнать тебя, зарезанной спросонок.

Губами чувствую руки застывшей лёд,
мой смертный час теперь
не может быть мне страшен.
Ко мне склоняется, в багровый цвет окрашен,
как будто кровь мою впитавший небосвод.

В тиски железные зажатый,
сам позабывший про себя,
я слышал, как стучат лопаты,
слои промёрзшие долбя.

Дорыть до самой сердцевины
земной – так кто-то захотел.
И не хватало мешковины
для наших измождённых тел.

И был исторгнут каждый третий,
но не редел наш скорбный круг.
Казалось, несколько столетий
я слышу монотонный стук.

И вижу жёлтую корону
звезды – сквозь ледяную мглу.
И человек вооружённый
прижался к чёрному стволу.

Церковный свод, кресты литые.
Со стенки, каждый бос и сир,
глядят какие-то святые
на этот, их забывший, мир.

И лик замученного Бога
пронизан жёлтым светом весь.
Поют, и слово «синагога»
я почему – то вспомнил здесь.

Старинных иудейских знаков
сцепленье – Библия, Талмуд.
Иосиф, Авраам, Иаков ...
Погром, прозрение и труд.

И два врага, два антипода,
две удалённых стороны,
отторгнутые от народа,
вдруг стали вместе не нужны.

И не грозит кромешным адом
холодный тоненький дымок,
лишь смотрит воспалённым взглядом
ненужный и забытый Бог.

Экспедиция

*«Туда, туда!
В страну туманных бредней,
где обрывается последней жизни нить!»*

Н. Заблоцкий. «Седов».

**Последние следы последнего ночлега,
ко льду примёрзшая колючая зола.
Под небом, с примесью металла и стекла,
равнина голая, лишь куст торчит из снега.**

**Их было несколько, тех, кто пришёл вчера
сюда. Замёрзшие, к огню собаки жались.
И искры яростно летели из костра,
и блики красные на лицах отражались.**

**И еле слышен был в безмолвии седом
звук разговоров и визгливый лай собачий.
А вечность бодрствовала, скованная льдом,
скосив единственный свой жёлтый глаз незрячий.**

**И слово краткое упало с губ – «цинга»,
и тонкой линией рассвет засеребрился,
и крошки чёрные вдавила в снег нога,
и уголь тлеющий блеснул и задымился.**

**И стали волосы от инея седые,
а смерть волчицей шла, приноживаясь к снегу.
И тонкой коркою стянуло их следы,
следы последние последнего ночлега.**

Она

Дар предков – на лице застывшее желанье
всегда повелевать, сурово губы сжав.
В любой её черте надменное сознание
со дня рождения ей принадлежащих прав.

Презрительная лень, брезгливое терпенье –
вот около кого прожить ей предстоит.
Прищурившись, в ответ язвительно молчит,
лишь делает плечом ленивое движение.

На чью-нибудь любовь ответит, не любя.
Не веря ни во что, скрывает, что не верит.
Когда-нибудь она пройдёт мимо тебя
и вспыхнувшую страсть холодным взглядом
смерит.

Совершенно прилично
всё, «с иголочки», как говорят.
Но ловлю я лениво – циничный
изучающий взгляд.

Замечаю мгновенно
промелькнувший в глазах золотой огонёк.
Твой наряд современный
скрыть его не помог.

И смотрю откровенно и грубо
на лицо и фигуру, на плечи и грудь.
Даже тонкие губы
выдают твою суть.

Отрицание чувства –
вероятней всего, окрестил бы я так,
этот нагло и густо
наступающий мрак.

Сон

Сегодняшней ночью

туманная смерть мне приснилась.
Я сделался старше: отрывисто сердце забилося.
Две комнаты смежных, на койке подушки белели
в одной из них. Рядом, смеясь, телевизор смотрели.

Дыша тяжело, говорил я друзьям: «Угощайтесь»,
и всё мне казалось, что я говорил им: «Прощайтесь».
Потом провожал их, советы привычные слушал,
но слышал лишь сердце, больную хрипящую душу.

А ночью мне снился отец,
переспрашивал всё: неужели?
Как будто бы он, задохнувшись,
опять не поднялся с постели.
Наутро впервые проснулся я мёртв и спокоен.
Но было ли это, и что это было со мною?

Стена

Не заметил: стена появилась глухая,
и окружность была формой этой стены.
И стучали, как град, постепенно стихая,
звуки разные с той стороны.

И блестели лучи, упавшие косо,
совмещаясь в едином прозрачном пучке.
И не мог никому там задать я вопроса,
на пустынном моём пятачке.

И гуськом облака проплывали над тесным
этим царством, подобно колонии льдин.
Так столетия я простоял с неизвестным
с глазу на глаз – один на один.

И внезапно под треск обвалившейся кладки
отлилось в форму тела моё естество.
И в пролом змеевидный летя без оглядки,
я забыл про себя самого.

Рука, сама ли ты держала
перо, страницу, камень, меч?
Мысль, превратившаяся в речь,
когда-то мне принадлежала.

Свободной воли произвол,
мучительно в тебе нуждаюсь
и от себя я отчуждаюсь,
но разве я тебя обрёл?

Душа, мне это тяжело –
быть пленником своей природы.
Сгустились краски – словно йодом
облили воздуха стекло.

Веко

Опустите свинцовое веко!
Дверь закройте скорей на крючок.
Слишком много внутри человека
кой – чего обнаружил зрачок.

Это знание – вовсе не сила,
что способна держать на плаву.
Много всякого напрочь скосило,
и не нужно оно большинству.

Эх ты, воля, дыхание спёрло.
Ты, свобода, наивный порыв.
Как и прежде, хватают за горло,
к отступлению путь перекрыв.

Те левее, а эти – правее
и шумят, как лесная листва.
А когда оживаешь, трезвея,
то с похмелья болит голова.

И не видно уже человека,
только хитрый и жадный мертвец.
Опустите свинцовое веко,
опустите ж его, наконец!

Встреча

Постучала тревожно в калитку мою: «Отвори!»
Я поднялся с постели под жалобный скрип половицы.
В темноте моих близких белели расплывчато лица,
за окном разгорался осколок осенней зари.

Двор, засыпанный листьями, не торопясь пересечь,
я под ветками шёл, беспричинно внушавшими жалость.
Мне казалось: она к деревянной калитке прижалась,
в тёмно – серой косынке, как будто сползающей с плеч.

И горячие пальцы к моей прикоснулись руке.
Различил я, как тлеет болезненный, странный румянец.
И на прежнюю жизнь оглянулся я, как иностранец,
на полоску чужой, безымянной земли вдалеке.

Кто она, эта женщина? Раньше её не встречал,
но одно только слово – повсюду за нею пойду я.
Подняла на прощанье ладонь, истончённо-худую,
и не в силах ответить, беспомощно я промолчал.

Цепенели в низинах холодные топи болот.
Грибовидный туман вырастал из коричневых пашен.
Сбит на скорую руку, предутренней влагой окрашен,
начинал своё плаванье новой судьбы моей плот.

Болезнь

«Итак, хвала тебе, чума!»

А. Пушкин. «Пир во время чумы».

1

**Я оборвал на середине фразу,
ошибки быть, конечно, не могло.
Она, она – великая Проказа
впечатала клеймо в моё чело.**

**А был июль, и трепетали ветки,
нёс соловей какой-то сладкий вздор.
Из комнаты, моей старинной клетки,
я вышел в ночь, в её глухой простор.**

**И было так тепло и одиноко,
так нежно ветер мне лицо ласкал,
что круглый след таинственного рока
на лбу моём никто б не отыскал.**

2

**Две простыни соединил я нитью
и вырезал две полосы для глаз.
И, словно по волшебному наитью,
мой колокольчик дрогнул в первый раз.**

**И зазвенел, когда спалил дотла я
свой скарб убогий – дряхлое жильё.
И, как солома, в темноте пылая,
всю ночь не гасло прошлое моё.**

**Кричал и пел, когда я нёс по свету
мою надежду и мою судьбу,
и круглая таинственная мета
светилась влажно у меня на лбу.**

3

Прозрачный воздух, блики золотые,
укол железный вековой тоски.
Как грудь земли, лежат холмы литые,
деревьев чёрных выпростав соски.

И завитки моей любви сожжённой
стремятся кверху, в голубой зенит,
когда тяну я глухо: «Прокажённый»,
и колокольчик нехотя звенит.

И уползти стремится тварь живая
с той стороны, где я торю свой путь.
И метка зла, какую я скрываю,
по коже растекается как ртуть.

4

Но верю я в своё предназначенье,
когда округу заливают тьма,
и в желтовато-белое свеченье
награды смертной, моего клейма.

Когда ж по сердцу пробегают тени,
одна другую пробуя догнать,
мне давит на виски моё смятенье,
и я хочу по-волчьи застонать.

Тоски и боли океан солёный
как щепку хочет утащить на дно.
И я цежу сквозь зубы: «Прокажённый!»,
и рву ногтями круглое пятно.

5

Восстание. Мучительно и тесно,
и страх тайком прокрался в грудь мою.
И вряд ли мне доподлинно известно,
против кого сейчас я восстаю.

И сам себе я не хозяин ныне,
и никакой преграды больше нет.
Лежит в пыли разбитая святыня,
ничтожный сколок лучшей из планет.

Но я – никто, но я – марионетка,
убил в себе продажного раба.
Блестит в ладони мелкая монетка
нетленным светом, как моя судьба.

6

Так что ж теперь – свобода без предела,
полёт души, лишившейся всего?
Моё освобождение от тела
и от опеки горестной его.

Когда лечу, стремглав, над косогором,
над озерцом с колючим тростником,
я говорю на языке, с которым
веки прежде был я незнаком.

И мне понятно, по чьему приказу
зажжён костёр, в котором я сгорал.
Но боль и жизнь, искусство и Проказа --
теперь один торжественный хорал.

Где, восходя светло и полновесно,
растут созвучья, как в саду цветы,
переполняя мировую бездну
животворящей мощью красоты.

Переводы

О. Уайльд (с англ.)

Симфония в желтом
Вдоль моста омнибус ползет,
громадный желтый мотылек.
Он человеческий поток
сейчас пересекает вброд.

Баржа, свой желтый груз тая,
пшеницу, над рекой скользит.
И пленкой дымчатой сквозит
тумана желтого струя.

И желтых листьев хоровод
безумствует над мостовой,
и Темзы организм живой
дрожит всей толщей желтых вод.

**О. Минкин
С белорусского**

Белабог

Тут повсюду бессмертный порядок его:
Под травой, под кожей, под тонкой корою.
И наружу, сквозь синего льда вещество,
Родниковая кровь проступает порою.

И когда умирающий город клянет
Свой удушливый чад, тесноту и бессилье,
Белабог долгожданной прохладой прильнет
К черным зданьям, вздымающим крыши, как крылья.

**Признак слова и духа его в старине
Полумертвой, и в песне сквозит недопетой.
И в печальных глазах твоих, кажется мне,
Тень мелькает, и меньше становится света.**

***О. Минкин
С белорусского***

**Приснился мне умерший город под небом багровым,
Разрушенный город, навек уходящий в песок.
На мраморных плитах мелькает змеи поясок,
На выцветших буквах, которым не быть уже словом.**

**Повсюду осколки героев, царей и влюбленных,
И черная трещина лоб рассекла божества.
И только двух глаз колдовская горит синева,
Из прошлого светит незыблемо, неуголенно.**

О. Минкин
С белорусского

Дуда

О том не напрасно молва толковала,
Что дед мой был мастер играть на дуде.
С сумой и дудой самодельной, бывало,
Не разлучался дед мой нигде.

Так тихо и нежно дуда его пела,
Что громким казалось гуденье шмеля.
Когда же от горечи горькой хрипела,
То прочь из-под ног уплывала земля.

И тот, кто отмечен тоской безнадежной,
Напев ее слышал издавека,
И было отречься уже невозможно
От этой мелодии и языка.

А помер мой дед, и в чащобы глухие –
На дубе, среди узловатых ветвей,
Дуду его спрятали люди лихие,
Чтоб больше уже не играли на ней.

Хочу я найти ее в гуще зеленой
И с дуба рукой осторожно снять.
К губам поднести, чтоб от песни влюбленной
Так дрогнуло сердце, что слез не унять.

Да только не сладить мне с песней старинной,
К губам не прильнет непослушным она.
В лесу, где сомкнулась с вершиной вершина,
Я ветка отныне на все времена.

Я слышу, как полнится плачем дубрава,
Как мечется ветер, кустарник клоня.
И молча глядящие слева и справа,
Деревья тесней обступают меня.

*Леонида Лари
С молдавского*

Змея

На рынке как-то утром я встретил старика
С ручной змеей, шипевшей угрюмо и уныло:
«Приходит мысль – умру я – и жжет тебя тоска.
А все-таки не завтра – и сердце всё забыло».

Приблизился к нему я, и он шепнул: «тщета»,
И – показалось что ли? – заплакал тихо-тихо.
«Обратно отовсюду ползет она сюда,
Полжизни год за годом терплю я это лихо».

И нету больше силы нести это ярмо.
Тогда я крикнул: «Что же, беру и не жалею!
Я молод, разве в доме проклятое клеймо,
Такую драгоценность сберечь я не сумею?»

И весь тот день был полон сознанием, что близка
Змея, что беспрерывно и скорбно голосила:
«Приходит мысль – умру я – и жжет тебя тоска!..
А все-таки не завтра – и сердце все забыло!»

А ночью душу страхом сковал ее фальцет,
И, встав на четвереньки, ползком я дом покинул.
Но кроткая, как вечность, она скользила вслед,
И потеряв рассудок, в нее я камень кинул.

В лицо мое смотрела она без всяких слов,
Лишь горькая усмешка мелькнула на мгновенье.
И опустились руки, и перед ней готов
Был пасть я на колени, вымаливать прощенье.

Я знаю: завтра снова в ногах у старика
Змея свернется, чтобы возник припев постылый:
«Приходит мысль – умру я – и жжет тебя тоска.
А все-таки не завтра, и сердце все забыло...»

У СЕРДЦА НА КРАЮ

1990-1992

И только дереву не больно:
ему хватает высоты,
и мощью меди колокольной
полны звенящие листья.

Его не мучает тревога –
грозящий исподволь недуг—
о том, что счастья нет и Бога,
и нет бессмертия вокруг.

И в маскарадном блеске мая,
как в снежной нежиге зимой,
его незыблемость прямая
подобна вечности самой.

Горит огонь голубоватый
среди сырого ноября.
На фонаре стальном распятый,
страданье принял он не зря.

Тень покачнулася и пропала,
мелькнула белая пыльца,
и свет холодный и усталый
коснулся моего лица.

Лучи глаза мне не кололи,
лишь окружали ободком.
А город, черный, словно поле,
застыл на десять верст кругом.

Метались тоненькие спицы
лучей, а мрак был недвижим,
но светоносная граница
лежала между мной и им.

**И память вдруг перелистали
перед глазами, как альбом,
и все мельчайшие детали
я видел в свете голубом**

**Ну вот и один я в огромных квадратах
двух каменных комнат лежу в забытьи,
и желтые звезды в больничных халатах
стучатся в оконные стекла мои.**

**Ко мне подступил океан сновидений,
и мысли счастливой дохнул ветерок,
и чёрные корни гигантских растений
насквозь проросли деревянный порог.**

**Так вот что такое в любви раствориться,
впустить в себя страстный, тоскующий взгляд.
А чувство, как дым, над поляной курится,
и мёртвые клетки уже не болят.**

**И пеной волна одиночества хлещет,
с размаху на сердце мое накатив,
и хором поют бессловесные вещи
единственный и незабвенный мотив.**

Дует ветер, с деревьев срывая
паутины сквозное шитье.
Шевельнулась трава, как живая,
перепутались нити ее.

О земля, колыбель на могиле;
появление, страдание, труд.
Вместо тех, кто ушли и забыли,
только красные маки цветут.

О земли материнское лоно!
Возвращаются все, кто был жив,
и сплетаются души влюбленно
над водой, словно волосы ив.

.

Висят листья опустошенно...
Что им осталось: месяц, два?
А наклонившаяся крона,
как человечья голова.

Я созерцаю профиль странный,
черты тяжелого лица.
Хочу постичь я деревянный
закон, стучащийся в сердца.

И, как в Евангелие калека,
с безумной верой в волшебство
прошу у богочеловека
прикосновения его.

В саду

Морозный воздух, сонный сад,
дрожащих веток паутина,
и снег – застывшая лавина,
и кочки на снегу рябят.

И как замерзший водопад,
сосульки вытянулись длинно,
и помутнела сердцевина,
и хищно острия блестят.

И кажется на первый взгляд,
что все безлюдно, все пустынно,
лишь молча горбится осина,
да волчьи ягоды горят.

И камень пьедестала сжат
чугунной пяткой властелина,
и в даль, где стелется равнина,
глаза незрячие глядят.

Кусты

Не может ночь на веки
наклеить пластырь сна.
Сошлись кусты-калеки
у моего окна.

Изменчивы их тени,
их строй угрюмый тих.
Больное колено
горбатых и кривых.

Они хотят согреться
и просят в тепло,
но могут лишь тереться
ветвями о стекло.

Я слышу их беседы
в каком-то забытьи:
их радости и беды
похожи на мои.

За переплет оконный,
где темнота и снег,
хочу я в их колонну –
стать равным среди всех

Ветераны

Как будто их сюда согнали
и приказали им расти,
деревья черные стонали
по обе стороны пути.

А их кора была шершава,
вся из единого рубца,
и я налево и направо
не смел поворотить лица.

Качались дряхлые скворешни,
где больше не поют скворцы,
и сучья скалили черешни –
кривые, острые резцы.

Они пропущены сквозь войны
их искалечила пила.
И обнажились непристойно
разрезы поперек ствола.

Мистику

Жизнь такая дорогая,
словно веточка нагая.
Бесприютная, сухая –
весь ее круговорот.

И живешь ты, полагая,
что взамен грядет другая,
словно женщина другая,
лишь свернешь за поворот.

Но доносится все чаще
холод, из угла сквозящий,
разве он не настоящий?
Если хочешь, убедись

Ты в забвенье погрузиться
думаешь, но глаз слезится.
Неужели повторится
в самом деле наша жизнь?

Я смотрю на жизнь в упор:
вот закат расцвел, пылая.
Груб в руках ее топор,
хоть сама она не злая.

Вечной прелестью маня,
царства обещает будто,
и цежу я: «Дай огня,
подожди еще минуточку».

А она целует в рот
и распарывает вены,
и светлеет небосвод
над раздавленной вселенной.

Кровь течет из-под ногтей,
это царство человека –
удивленный крик детей
и чернеющее веко.

Побелели ноябрьские ночи,
зимний ветер в степи засвистал,
и какой-то невидимый зодчий
превратил испаренье в кристалл.

С высоты воробьиного лёта,
разрезая холодную тишь,
вековечную вижу работу –
что оттуда еще разглядишь?

А закат молчаливый и жесткий
облегает с затылка до пят.
И лежат в забвении перекрестки,
где ничьи башмаки не скрипят.

Жажда

Этажами громоздятся здания,
заплутал меж них мороз-слепец.
Неизбывной жажде созидания
не настанет никогда конец.

И неужто лишь нужда заставила
ток открыть и вольтову дугу?
И, мигая, вспыхивают правила
золотыми цифрами в мозгу.

И горят, как радуга, понятия,
вьется суть узором по стеклу,
и вещей глухонемая братия
попадает к мысли в кабалу.

Но хотя как будто все расставлено
по местам, как следует, точь-в-точь,
той душе, что знанием отравлена,
вековой тоски не превозмочь.

И болит в преддверии кромешности,
ощущая смертоносный яд.
Ну а вещи под покровом внешности
глухоту беспамятства таят.

Я слышу клочкотание машины,
однообразный равномерный вой.
Конические мысли, как вершины,
стоймя становятся над плотью неживой.

Свистит огонь, в железной глотке сжатый,
мелькают блики около лица,
и паровые жаркие раскаты
не вырвутся из тесного кольца.

Так может быть, моя душа томится
во мраке – болью истекает в нем.
Но не дано ей перейти границу
меж моей твердью и моим огнем.

Ведь я никто, хотя я был бы гений,
что изобрел ракету и пращу.
И в сложности моих изобретений
я от судьбы пристанище ищу.

И этот вой машины мне приятен,
поскольку я усердно ей служу.
И в пестроте аляповатых пятен
я красоту искусства нахожу.

Солнце будет жечь дотла,
так, что некуда деваться.
Господи, твои дела,
страшно с ними расставаться.

Разорвешь палящий круг,
и пойдешь кружиться снова
в танце черно-белых мук
на другом краю живого.

Где ни той, ни этих нет,
тени их теней разбиты.
Только призраки планет
чертят синие орбиты.

Не упрячет за решетку
и глаза не выест ложь.
Но, сказать по правде, плеткой
обух не перешибешь.

Толком сам себя не зная,
ты несешь зародыш лжи.
И страшна она – двойная
бухгалтерия души.

Оттого что правда мига –
кривда мяса и костей,
да еще стальное иго
человеческих страстей.

Задумчивые думы,
высокие мечты...
А солнце жжет угрюмо
до полной черноты.

От юного повесы
с разгульной широтой
до лиственной завесы
над каменной плитой.

И тем прекрасней чудо,
чем элей молчать велят,
и смотрит ниоткуда
светящийся твой взгляд.

Покрыли землю сеткой –
стальное волокно,
но быть обычной клеткой
не всякому дано.

Подобно шестеренке
вращенье совершать.
И детские пеленки
мешают мне дышать

И я ищу лазейку,
я бешено сную,
а совесть-фарисейка
потворствует вранью.

**Мы живем в муравьиной общине,
каждый каждому – брат или сын.
И царит в молчаливой гордыне
надо всеми закон-властелин.**

**Роем мы подземелья и ходы,
а над нами не светят огни,
и ужасное бремя свободы
безысходности нашей сродни.**

**Но люблю я ненужное дело,
что вершится столетья подряд,
и несую свое грешное тело,
а огни надо мной не горят.**

**На каждого венки терновый
примерит как-нибудь судьба.
И будешь ты, на все готовый,
стоять у черного столба.**

**Великий, как Джордано Бруно
в своем страдальческом венце,
и лопнут золотые струны
в кипящем огненном кольце.**

**Но тихий коридор удушья...
Зачем предчувствие, как крот,
ведет сквозь бьющуюся душу
и толстые слои пород?**

**Какая сила там, во мраке,
плодит космическую муть,
когда готовится к атаке
на человеческую суть?**

Белым-бело, как на том свете,
и, разорвав молчанья круг,
разносится по всей планете
дрожущих веток перестук.

Я господин моей тревоги,
я царь великой нищеты,
и мне кивают вдоль дороги
крест-накрест черные кусты.

А город медленно кренится,
ломая собственный скелет.
А ночью прошлое мне снится,
и жалко вычеркнутых лет.

Мысль

Приходит в сумерки и к мозгу припадает,
и цедит жизнь мою, губами шевеля.
В крошечном хаосе она возобладает,
над всем возвысится, как маковка Кремля.

Куда деваться мне от мысли-кровососки,
с вампирской точностью
являющейся в срок,
когда в изысканном своем, бесстрастном лоске
она, незваная, ступает на порог?

Пускай поет петух, ночной туман рассеяв,
абстрактной истиной окутанную тьму:
от крови праведников, жертв и фарисеев
во веки вечные нет прока никому.

Медленное шествие во тьму,
утомленно мысли шелестят.
За измену тихую всему
может быть, когда-нибудь простят.

Ведь важнее сонная трава
и деревьев мокрых череда,
чем любые умные слова,
чем любая радость и беда.

Шторы

Бесприютна моя нищета,
на снегу, как собака, ночует
Ну а горе по сердцу кочует,
прорезается складкой у рта

И, в неволю свою заключен,
через шторы я жизнь различаю,
и куда бы ни ткнулся, встречаю
этот тонкий, но мощный заслон.

Лишь Планиды сверкающий глаз
мог бы выжечь отверстие в шторе,
чтоб меня отпустившее горе
опоясало землю сто раз.

Революции голос картавый
прошептал, что покой – это бред.
И заполз в наши легкие ржавый,
наркотический дым сигарет.

И повсюду охотничьей дичью
мертвецов запестрели тела,
потому что грозит обезличье
и застывшая твердь тяжела.

И сочилась с огарка на скатерть
капля воска в столетие раз,
и косилась в тоске богоматерь
закопченными пятнами глаз.

Я жалкий наблюдал распад
под мрачной сенью гегемона:
как семь десятков лет назад
ревела древняя колонна.

Беззвучно разевая рот,
гасил огни зрачок-локатор.
Землей облепленный, как крот,
еще один вставал диктатор.

И запах разложения рос,
к ноздрям подкрадывался ближе.
А кто-то целовал взасос
его ботинки в клейкой жиже.

Жаркой верой сытно накормили,
заковали в кандалы слезу.
А когда хребет переломили,
понял я: теперь не уползу.

И прошлись походкою железной
по останкам тысячи веков,
и в своей надежде бесполезной
стер я пыль с блестящих башмаков.

Просто пыль коричневого цвета,
но не лжет бродячая молва,
что воспели лучшие поэты
эту грязь с ботинок божества.

Я его боялся, безусловно,
страшный Бог стоял передо мной.
Но счищал порой почти любовно
жертвы кровь и человеческий гной.

И сейчас, когда вопит тупица,
что его, мол, кто-то обманул,
до упора в круглые глазницы
я бы взор свой яростный воткнул.

Чтоб пред этим человеческим стадом,
Что считает жалкие гроши,
распростерлась беспросветным адом
ширь моей пылающей души.

Завопить бы: вы мне не родня,
ваш закон невозможен и дик.
Но не слушает больше меня
в пересохшей гортани язык

Эта жизнь – ненавистная блажь,
возразишь – налетят и сомнут.
Но послушай: чего не отдашь
за каких-нибудь пару минут?

Чтобы в этот тифозный барак
залетел хоть обрывок цветка,
и светило бессмертье во мрак
желто-белым огнем ночника.

Живи пронзительно и строго,
но в ту же реку не войдешь,
ведь нет намеренья у Бога
карать предательство и ложь.

И в безнадежный час измены,
великий и убогий час,
блестит божественная пена,
скрывая истину от глаз.

Душе не хватит революций:
природа возводила клеть.
И новый никакой Конфуций
не сможет смерть преодолеть.

Я проснулся в черном страхе,
словно лет сто пятьдесят
я уже лежу во прахе –
все никак не воскресят.

Птичья стая режет плоско
воздух жесткий и рябой,
как железная расческа
над землей и над судьбой.

И не жаркий кипарис там,
влажный клен стучит в окно,
что пред вечным аферистом
в страхе корчиться грешно.

Ураган

Мой ураган духовный как смирить?
Я не могу в забвении парить,

поскольку я отрезан от вселенной
и тягостен мне бунт четырехстенный

под колпаком, в заплеванном углу,
где расцветает сырость на полу.

И бьет наотмашь ледяным потоком,
слепит глаза в стремлении жестоком

прорвать заслоны, затопить миры,
но нет из черной выхода дыры.

И нет конца взбесившимся желаньям,
запутавшимся в беге тараканьем.

А впереди бессмысленный покой,
где ни вздохнуть, ни шевельнуть рукой.

Распад материи, уход за грань Природы
и равнодушные, сверхчувственные воды.

И только вечности единственный зрачок
дрожит, уставившись на тесный пяточок.

Есть абсурд королевской химеры,
если роскошь внутри и вокруг,
и абсурд есть пронзительно-серый –
монотонный колес перестук.

Есть абсурд ритуальных закляний,
грозных вер неизвестно во что.
И абсурд сокровенных желаний,
про какие не знает никто

Есть абсурд любопытного взгляда,
что сквозь атом стремится к ядру
Вот и все, потому что не надо
мне гармонии, если умру.

Очищающий огонь операции
прописали залетной душе,
и лежит в состоянье прострации,
ни на что не способна уже.

Вытри скальпель скорей окровавленный,
не хирург, а палач и мясник,
чтобы воздух, свободой разбавленный,
к опаленному сердцу приник.

На халате его – пятна красные,
и сверкают очки на носу.
Брось, мое вдохновенье прекрасное
я до морга и сам донесу.

**Вот я остановился,
вперед я посмотрел:
там горизонт кривился,
и горизонт горел.**

**Извечные колоссы
земных материков
летели под колеса
стальных броневиков.**

**В каком-то пекле жарясь,
все лопалось от мук.
И «Менэ, Тэкел, Фарес»
послышалось мне вдруг**

**И в высь над горизонтом
не поднимался дым,
но душ всеобщий стон там
был непереносим.**

**Казалось, оползая,
он в пыль мой мозг сотрет
И опустил глаза я,
чтоб не смотреть вперед.**

**Картина Хуселе Риберы
«Диоген с фонарем»**

Это правда – разве мы хотели
звать ее своим поводырем?
И идет, заглядывая в щели,
человек с горящим фонарем.

Ни крупицы, ни единой крохи,
ничего, что он найти бы мог.
Лишь блестят неистово сполохи,
разрезая жизнь наискосок.

Неужели только Кара-Кумы
да Сахара – голубая хмарь?
И молчит устало и угрюмо
человек, сжимающий фонарь.

Возрождение

Воет ветер в черной подворотне,
где одни нависшие углы.
В пустоте безжизненной субботней
влагу пьют разбухшие стволы.

И по стеклам ветки ударяют,
совершая медленный обряд.
Бесконечно что-то повторяют
и не знают, что они творят.

Словно в темный час происхожденья
все из пепла силится восстать.
Глупенькое слово «возрожденье»
захотелось вслух пробормотать.

Кто умер, вышвырнут на свалку,
взамен него придет другой.
Но жалко, жалко, жалко, жалко
того, чье прозвище – изгой.

Кто уничтожен мимоходом,
кого решили растоптать,
и чьим бессмысленным исходом
нам ничего не оправдать.

Кому страдания гримаса
и скорби – искривила рот.
Лишь единица, а не раса.
Лишь человек, а не народ.

Так исчезло мое поколение,
расползлось, как прогнившая ткань.
Словно третье стоит отделение,
наша хмурая Тьмутаракань...

Только ветер в кустах шевелится,
бормоча всякий вздор, как старик,
и секунду какую-то длится
полуночный разбойничий крик

И с великой планеты Разлуки,
из утробы ее ледяной,
привидения, тени и звуки
прилетают для встречи со мной.

Волна

**Причина рожденья волны неизвестна,
и можно только гадать,
какая была в пустоте бессловесной
великая благодать.**

**Но что-то внезапно слегка замутилось,
потом завертелось волчком
и в странную очень дорогу пустилось,
но не было страха ни в ком.**

**И только когда вертикальной стеною
с гребешками, напоминающими кайму,
нависла – вспыхнуло вдруг больное
и бесполезное «почему?».**

**Почему отсвечивают перламутром
миллиарды переливающихся огней?
Почему этим светлым и ласковым утром
я должен лежать, погребенный под ней?**

**Почему мне назначено костодробленье
в дробилке бессмысленного бытия,
где исчезло все мое поколение,
миллионы таких, как я?**

Чем свет обнаженной, тем резче
граничит с ним полная тьма.
Мне снятся обычные вещи,
которые сходят с ума.

В свободе своей окаянной
предмет, угловат и коряв,
летит, от безвластия пьяный,
все свойства свои потеряв.

И атомы мчат по спирали,
утратив взаимный контроль,
как будто они отыграли
давно надоевшую роль.

И нет никаких гравитаций,
нет силы, способной сплотить.
Им некого больше бояться,
и некому их укротить.

Немые, глухие, слепые
в бессмертной своей маете.
И нету границ энтропии,
и нету конца пустоте.

Оскалило время клыки
с коричнево-желтым налетом.
Над пропастью и над болотом
машин раздаются гудки.

И, бельма уставив во тьму,
слепцы собираются в стадо,
и пена незрячего взгляда
ползет по лицу моему.

Задвигались: гомон и крик,
я чувствую тел колыханье,
горячее слышу дыханье:
мужчина, ребенок, старик.

Как будто другой Моисей
связал их веревкой свободы.
Как плевел, изъят из народа,
один я средь Родины Всей.

Подо мной земля зашевелилась,
рыхлая, как хлебный каравай.
Но скулить не стоит: сделай милость,
ты меня, судьба, не убивай.

Ибо век идет в косоворотке,
засучив по локоть рукава.
И течет по узенькой бородке
уличная подлая молва.

Отчего-то шуруется знакомо,
острых глаз выплескивая ртуть.
Кажется, от сплетни до погрома
он способен враз перемахнуть.

Потому не стоит унижаться,
что-то кланчить у таких, как он.
Времена, как сумерки, ложатся,
подступая с четырех сторон.

Пасмурное, хмурое похмелье...
Времена постылые кляня,
захотела справить новоселье
в час урочный вся моя родня.

Как горох, рассыпалась по миру,
расползлась неведомо куда.
И чернеют голые квартиры,
разбросав, как нервы, провода

Я, пожалуй, ничего не брошу
даже ради дорогой семьи:
не на кого мне оставить ношу,
что тащили пращурьы мои

Я не верю в перевоплощенье
на земле какой-нибудь иной,
только в тени мерное вращенье
над просветом лампочки ночной.

В этом тихом движении вбок
мое место на самом краю,
чтоб начищенный чей-то сапог
не споткнулся о душу мою.

Но скрипят и скрипят сапоги,
длится ночи глухая возня,
потому что не видно ни зги
и на шаг от тебя и меня.

Вот я предал, и стало легко,
и чужая земля под ногой.
Это где-то во мне, глубоко
тяжело шевельнулся другой.

**Свободы страшное лицо
явило бледность восковую.
Стоят народы вкруговую,
друг друга заключив в кольцо.**

**Стучат огромные сердца,
чернеют братские могилы,
и рвутся мировые силы
разъять друг друга до конца.**

**И опаленная душа
коросту страсти обдирает
и все никак не помирает,
горючим временем дыша.**

**Мой мозг распух, и нервы обнажились,
и, как вороны, мысли закружились.
Заткнуть бы уши или выпить яд,
чтобы не слышать, как они вопят.**

**А рядом дождь струится тополиный,
но нет для сердца песни соловьиной.
В моей квартире даже днем темно,
лишь в центре пола – жаркое пятно.**

Вот я родился снова
в какие-то века,
и полюбил я слово
чужого языка.

Мучительно и тупо
ломилась боль в виски,
и жизнь сочилась скупю
сквозь узкие зрачки.

И тот мой век отмерил,
кто в грязь меня вгонял.
И мне никто не верил,
что я не изменял.

И был я в этой роли
так жертвенно высок,
что сердце распороли
мое наискосок.

И в летний зной палящий,
изображая смерть,
почти как настоящий,
я скреб земную твердь.

Летит душа пустая
сквозь звездные клочки,
а мне воронья стая
садится на зрачки.

Отсекали голову от тела,
рубанули топором сплеча.
И кольцо на солнце заблестело
на одном из пальцев палача.

Взвизгнула толпа в зверином раже,
задрожал пружинистый настил.
Если был я в чем повинен даже,
я за все сегодня заплатил.

До свиданья, грязная орава,
что украла все мои права.
Смотрит в небо тускло и кроваво,
ничего не видя, голова.

Опостылело мне королевство мое дорогое,
от его благодати усталому сердцу невмочь.
Потому что дано ему счастье раба и изгоя,
и не знает рассвета безлунная долгая ночь.

Влажно-серый туман пролился на лицо, как чернила,
и глотаю я жизни горячий и горький настой.
Может быть, за стеной, что полнеба от нас заслонила,
есть еще один мир, удивительный и золотой.

Улетает мечта из империи древнего горя,
где рычит самоед, наточив на собрата клинок.
Я был горстью земли под железной повозкой истории,
на последний допрос увози меня в ночь, воронок.

Недаром голосил по-бабьи
царь: перепутав свет и мрак,
женился на болотной жабе
по глупости Иван-дурак.

И на перине жаркой лежа
с женой законной бок о бок,
всю ночь он чувствовал на коже
щемящий, тонкий холодок.

А жаба скользкая лоснилась,
все так же густо-зелена,
и дураку напрасно снилось,
что стала женщиной она.

Белеют валуны, и дали золотятся,
приклеилась к земле колючая трава...
Кто мог предположить, что тени превратятся
в людей и воскресят забытые права?

Прародина пяти глухих тысячелетий
прижмёт тебя к груди, так что в глазах темно.
И страшно понимать, что нам на этом свете,
по правде говоря, иного не дано.

Прошу тебя, Восток, ослабь свои объятия.
В них можно околеть, так ласка горяча.
На древнем языке, гортанно бормоча,
везде вокруг меня мои чужие братья.

Мы друг на друга взгляды устремляем,
но я прошу: так странно не смотри,
ведь мы всего лишь дурака валяем,
чтобы заполнить пустоту внутри.

Та пустота... Случайно обнаружу,
пожму плечами – только и всего.
Безликая, незыблемая стужа
стремится к жару тела твоего.

И ты молчишь, крыла затрепетали.
В скрипичной гамме нервы задрожат.
И золотые, сказочные дали
как на ладони предо мной лежат.

Моей квартиры каменное чрево,
где редкий луч прокалывает тьму.
И женщина, нагая, словно Ева,
лежит, прижавшись к сердцу моему.

Какие там она услышит звуки:
колес шипенье, колокольный звон?
И незаметно маленькие руки
сжимают сердце с четырех сторон.

А за окном как будто бы светает,
сползает с листьев ночи простыня,
и сил моих покуда не хватает
взглянуть в лицо раскрывшегося дня.

Поселился во мне наблюдатель усталый,
не великий философ, не жалкий пигмей.
Только он разглядел, из какого металла
были губы у женщины слабой моей.

Ничего не случилось, но что-то такое
стало жалко и жадно из щелей переть,
и рассеялся сон золотого покоя,
только он все еще продолжает смотреть.

Он большое стекло своего микроскопа
погрузил в безысходность, в ее глубину,
где в преддверии жизни, еще до потопа,
бессловесные чувства блуждают по дну.

**ПО ТУ СТОРОНУ
СУДЬБЫ**

1993-1996

Убирайтесь, мысли, вон –
я не звал вас этой ночью.
Тихий шёлковый трезвон
раздирает сердце в клочья.

Разбегаюсь и лечу,
простыней уже не мну я,
потому что не хочу
тяжесть чувствовать земную.

Перед входом высоты
открывает сердце двери,
изживая все потери
и сжигая все мосты.

Я судьбу ломаю о колено,
ничего не чувствуя почти.
Словно имя древнее Елена
загорелось на моём пути.

Или летней золотой порою
на исходе сорока годов
захотело моё сердце в Трою,
эту мать мёртвых городов.

Боли нет в прощанье запоздалом,
и надежды не заметно в нём.
Жизнь, как будто небо над вокзалом,
залита серебряным огнём.

Всё затрещало, накренилось
и разорвалось поперёк.
А может это божья милость,
что Тютчев некогда предрёк?

Вот рухнул оползень огромный,
и суть истории ясна.
Но плачет человек бездомный,
не зная, в чём его вина.

Виновен в том, что существую,
а потому – огнём крести
за то, что обладаю всеу
надеждой в стиснутой горсти.

Стучат в окно листья,
горячих дней остатки.
Кромешной темноты
туп подбородок гладкий.

Как будто бы века
взошли и отсыяли
с тех пор, как здесь рука
лежит на одеяле.

И синих вен, как рек,
загадочно сплетенье.
Не знает человек,
чьё он изобретенье.

Бессмысленный вопрос:
что – полночь, два, четыре?
И стая жёлтых грёз
летает по квартире.

Напрасно хочет суть
поймать свою изнанку,
и горечь спозаранку
не распирает грудь.

Когда утихает свирепая жажда добра,
природа понятнее в тоненьком платьице красном.
Во взгляде её, пронизательном,
честном, бесстрастном –
отсутствие боли, лишь света и тени игра.

И призраки прошлого, грёзы идут, как валы,
один за другим ударяют о спящую душу.
Как будто они омывают бесплодную сушу,
и песню забвенья поют голубые стволы.

Поёт скворец в апреле на заре,
потом другой – какая перекличка!
Словно стихи – восторг, любовь – привычка...
И вишни все в чеканном серебре.

Вновь тишина, вздымается рассвет.
Мои тревоги ото сна восстали
и жизнь мою до корки пролистали,
тяжёлый том, в котором смысла нет.

Не зарезали меня в лесу бродяги,
не склевало воронье глаза мне, друг.
Я в своей квартире чёрной, как в овраге,
и ни шелеста, ни шороха вокруг.

Только тянет из оконного проёма
влажной сыростью и свежестью ночной.
Стонут ходики, и тополь возле дома
до полуночи беседует со мной.

Опять перечеркнуло плечи
ружьё, зовущее к борьбе.
И смысла нет уже в наречье,
красивом флаге и гербе.

Когда весеннею порою,
в семнадцать или в пятьдесят,
смерть уж не кажется игрою,
и листья траурно висят.

Но всё логично, как на бойне,
должно свершиться без помех.
Лишь жертва может быть достойней,
правдивей и честнее всех.

Круговую безысходность вижу,
и блестит, как сырость, нищета.
Родина, отравленная жижа,
капает из каменного рта.

Не раскрыть твои глаза пустые
даже в рог архангельский трубя.
Самые последние святые
отrekliсь с проклятьем от тебя.

Потому что со времён Мамая
до эпохи красного венца
рабства тень висит глухонемая
над простором каждого лица.

Выхожу из судьбы, ненавистой и милой,
и сползаю на Родину праотцев я.
Будут сниться теперь переулки, могилы,
тополя возле дома, друзья.

Голосить ли о том, с чем проститься придётся
или плюнуть на свой недоеденный хлеб?
Но хоть песня надежды здесь плохо поётся,
это всё ж не последний вертеп.

Виновата ль земля, что пришли дровосеки,
и корчуют наш мир, сладострастно рубя?
Видишь, Родина-мачеха, присно, вовеки,
не смогу ненавидеть тебя.

Война

Вот лицо, облепленное мухами,
на экране – мелкий штрих войны.
Обросла чудовищными слухами,
и они поистине верны.

Где-то там, за чёрными болотами,
расстелила густо-синий чад.
И всюю стрекочет пулемётами
в час, когда кузнечики молчат.

Вы здесь останетесь лежать,
где кладбище на лес похоже,
и мой народ уже не может
ни умирать и ни рожать.

Моя безликая родня,
не обронившая ни звука,
в последний раз перед разлукой
сейчас приветствует меня.

Диаспоры посмертный сон:
портные, лекари, поэты...
Лишь чёрно-белые портреты
разбитые – со всех сторон.

Покуда не пришёл черёд,
и дико тракторы не взвыли,
лежи – могила на могиле, –
мой богом избранный народ.

Я Родину выжег железом калёным,
и в столбики пепла свернулись поля.
Не нужно уже притворяться влюблённым
в эти акации и тополя.

И кладбище, отческий дом или школу
горящая воля моя рассекла.
И рухнуло всё, стало пусто и голо,
и вывалилась в мир перевозданная мгла.

Вот я – бунтовщик, уничтоживший звонкий
храм, коему, может быть, тысяча лет,
стою на краю исполинской воронки,
следуя, как вокруг стекленеет рассвет.

Всё, как прежде, но страшно иное:
задыхается утро больное.
Все деревья растут вверх корнями.
Ощетинились окна огнями,
и волчица на месте вождя,
а на стёклах – слезинки дождя.

Я не знаю, я жив или нет,
моя камера – мой кабинет.
И разлука глаза мне туманит,
но я знаю, что лучше не станет.
Я б купил со свинцом себе трость
в этой сказке, где голод и злость.

Каждая жизнь, приходящая в мир ниоткуда,
ищет возможность свободу свою обрести.
Каждое сердце надеется втайне на чудо,
скорбный свой крест не желает во мраке нести.

Мечутся сущности в чёрном кругу алгоритма.
Страсть ударяет по выпуклой мысли, как плеть.
Но на исходе какого-то нового ритма
трудно бывает в безвестности не околеть.

Нации – звери, за место под солнцем грызутся.
В радужном облаке тополь стоит дотемна.
В поисках воли они от себя не спасутся.
Где-то над городом песня угрозы слышна.

Умирают осенние травы,
не кричат, обезумев, скворцы.
Как осколки разбитой державы,
мчатся листья в чужие концы.

Молчаливое время распада,
чья походка, как ночь, тяжела.
Хорошо, если сердцу не надо
ни восторга, ни страсти, ни зла.

Тихо белые кусты
чёрной влагой пропитались,
и вне времени остались
антиподы – я и ты.

Умолкали голоса,
исчезающие втуне.
Как у смерти накануне,
за каких-то полчаса.

Католический костёл
пел органом в грудной клетке,
и на заданной отметке
лопался души котёл.

Я тащу за собой мертвеца,
чую стужу его ледяную,
и сквозь темень глухую ночную
вижу тусклую бледность лица.

Тяжело от стеклянных зрачков,
от руки, что повисла безвольно.
Но не крикну я: хватит, довольно! –
этим ямам запавших висков.

Просто память – закушенный рот,
все друзья, и семья, и родные...
В тёмной речке, где мечутся сны, я
никогда не нащупаю брод.

Когда духовный схлынет вал,
вся жизнь – как белая палата.
И чем гордился, что скрывал,
осенним холодом объято.

Не надо многого душе:
желтеет редкий лес на склоне
холма. И пусто в шалаше,
и прошлое – как на ладони.

Повис между двумя мирами
над бархатом ночных полей.
Но прошлого в оконной раме
мне будущее не милей.

Ещё не там, уже не здесь я,
постылой Родины лишён.
Но по законам поднебесья
мой дух пока не воскрешён.

Трещит по швам его темница,
виднеется волшебный сад.
А он панически боится
и смотрит жалобно назад.

Жизнь бросаю на весы,
мысли мечутся, как мухи.
Неподъемные часы
к голосу рассудка глухи.

Всё коверкают и мнут
взорванных осколки радуг:
остаётся пять минут –
навести в себе порядок.

Вот и треснуло – гоп-ля! –
жизни зеркало кривое,
и встаёт над головою
комом – русская земля.

Вообще говоря, я не мог бы любить этот город,
где машины, как мухи, торчат на любом пустыре.
И холодные капли с утра заползают под ворот,
и трава начинает, как в марте, расти в январе.

Я осколок страны, что покончила с временем счёты.
Обозначенный еле, её исторический след.
И пронзительным утром бывает мне пусто до рвоты,
если свет заблестит, угрожающий, как пистолет.

Незачем душой кривить,
так не вылечишь недуг.
Волком хочется завывать,
коль очухаешься вдруг.

Потому что это Марс,
а на нём закон иной.
Или, может, это фарс,
приключившийся со мной.

Я слежу за тучею косматой –
сколько можно нас дождём терзать?
И молчу, невольный соглядатай,
оттого, что нечего сказать.

В поле бы заснуть, но нету поля,
лишь машин остервенелый вой.
Всё в металл закованная воля,
да огонь реклам над головой.

Не спасёт горящая реклама,
если явь – торжественные сны.
Я пришёл из выморочной самой,
безнадёжно-радостной страны.

Не будет более Союза,
прошедшей жизни не вернуть.
И ночь, как дохлая медуза,
мне тупо валится на грудь.

И в пустоте моей бессонной
со дна коробки черепной
воспоминания колонной
выходят, чтоб побыть со мной.

Смотрю на лица восковые,
во тьме плывущие, как дым.
О чём-то говорю впервые
с самим собою – молодым.

Не уходит в туман электричка,
и деревья не стынют в снегу.
Взгляд твой тяжкий и хмурый, москвичка,
равнодушно принять не могу.

Ностальгия нахлынула снова,
то же самое было со мной.
Помню чёрную ночь Кишинёва
и каштан возле дома весной.

Я твой брат по изгнанию и вере,
по земле, что горит на весу.
Безнадёжное чувство потери,
как и ты, молчаливо несусь.

И я вошёл с отцом и сыном,
с надеждой, стёршейся до дыр,
в Израиль, что вколочен клином
в арабский выморочный мир.

Здесь лишь один скачок звериный –
и всех действительно убьют.
Израиль, черны твои равнины,
молитвы грозные поют.

Остёр зрачок израильтянки,
насквозь готовый проколоть,
когда в ночи рванутся танки
на человеческую плоть.

Крах моей души свершился,
если души – это явь.
Тополиный пух кружился,
по земле пускался вплавь.

И теперь второстепенно
всё, что связано с судьбой:
на другом краю вселенной
горек кислород рябой.

В этом новом измеренье,
где рука висит, как плеть,
будет лишь стихотворенье
флагом издали белеть.

**В непонятной, бесформенной массе,
что зовётся народом моим,
совершенно в иной ипостаси,
вряд ли может быть дух неделим.**

**Кувыркаются тени без плоти,
бесконечная пёстрая смесь.
Потому-то ты «за» или «против» –
не имеет значения здесь.**

**В Палестине русский язык уместней, чем прочие,
в силу сходства сионизма и русской идеи.
Но лишённый величия и полномочий,
он уйдёт, когда мы выйдем, постепенно скудея.**

**А поскольку это случится не скоро,
можем смело сочинять романы и оды,
чтобы тускло желтели бумажные горы,
повествующие о днях смятения и разброда.**

**Когда в гигантском историческом раскопе,
как тень идущего ко дну Титаника,
навек исчезла великая утопия,
уцелевшая в печах Освенцима и Майданека.**

В изгнании горьком и сладком
оборвана времени нить.
Под рухнувшим, мёртвым порядком
какие надежды хранить?

От гари, тоски и бензина
страшна неродная краса.
Слышны твои хрипы, чужбина,
под утро – в четыре часа.

В субботу шершавое пенье,
как шорох дождя в тростнике.
Но кажется – нет воскресенья
на этом библейском клочке.

Жгучее солнце, не устающее жечь.
Пронзительные, визгливые голоса детей.
Картавая, по нервам бьющая речь –
голая жизнь без затей.

Говорят, явись я лет двадцать назад,
вероятно, сегодня бы жил, как король.
Построил виллу и ходил пузат –
вот так роль.

В отсутствие Родины,
обрубленной на корню,
которая попросту на карте пятно,
изменюсь я или изменю, – всё равно.

У синагог средневековых,
друзей лишённый и врагов,
под знаком сумерек багровых
не слышу шороха шагов.

Вдруг на божественные темы
горящий куст заговорит,
и вспыхнут вечные проблемы,
как он без усталы горит.

И мир, гудящая машина,
почувствует любовь Творца,
прижав цветущую долину
к железной плоскости лица.

Нас крестила перестройка люто,
погружая каждого во тьму,
и осколки страшного салюта
догоняли всех по одному.

И острее запаха помойки,
нищеты, что над землёй летел,
был угрюмый воздух перестройки,
сладкий дух непогребённых тел.

А свободы едкая отравка
всё мутила головы, как хмель,
и лежала мёртвая держава,
как в прорехах грязная постель.

Вот мы – бездумные, как рыбы, –
всё к чёрту, быть бы на плаву.
Ну что же, и на том спасибо
стране, в которой я живу.

Там, где прошёл назарянин,
беспечно чудеса творя,
я, жаром солнечным изранен,
припомнил вдруг концлагеря.

Стал братский гнёт бесповоротным,
как режущий восточный зной.
И дух затравленным животным
прибился к нации родной.

Моя тюрьма, томленье духа!
Всё, что дошло из жизни той,
уничтожаешь зло и сухо
своей щемящей духотой.

Нашествие чужих созвучий...
Но коль предчувствие – не ложь,
из этой цепкости паучьей
ты в рай по облаку взойдёшь.

Пока гудят пески, желтея,
все в тенях древних колесниц.
И косо смотрит Иудея
из глубины пустых глазниц.

В раскалённой расплавленной сини
нет ни капли колодезной тьмы.
И свирепо дыханье пустыни
опалило сердца и умы.

Палестина, железною сетью
разметались твои города.
И молчат изжитые столетья,
как в канаве – гнилая вода.

Так сумрачно, чуждо и ново,
что кажется – боль не избыть.
Тарковского и Гумилёва,
и Пушкина можно забыть.

И если туманные лица
сужают свой замкнутый круг,
случается, ночью не спится,
и это не шуточки, друг.

Я очнулся на Ближнем Востоке,
где песком заметает по грудь.
И лишилась судьба подоплёки,
про которую сказано – суть.

Выцвел воздух, растаяла дымка,
бестолковый волшебный недуг.
И уже не спасёт невидимка
от унылых предметов вокруг.

От практичного трезвого взгляда
в королевстве кровавых измен
в двух шагах от ленивой Эллады,
где когда-то бродил Диоген.

Любовь к мёртвому миру
покуда во мне сильна:
смотрю на свою квартиру
из чужого окна.

С детства знакомые стены,
улицы, тополя.
Вымершая вселенная -
моя земля.

**Мёртвые не имут сраму,
но, толкаясь и кляня,
всё разыгрывает драму
уцелевшая родня.**

**Изживающая чудо
до бессмысленной черты,
и несутся пересуды,
как дубовые плоты.**

**Вой ночной машины резче
крика филина в лесу.
И о Родине зловещий
сон в предутреннем часу.**

**Я ощутил родство между собой
и кладбищем еврейским в Кишинёве,
как будто пробудился голос крови
и взвыл Иерихонскою трубой.**

**И Театральный переулок мой
забыть навечно не хватает силы:
кружат над ним знакомые могилы,
как ласточки – и летом и зимой.**

**Из эмигрантской дали грозовой
спускаюсь вниз – по снам, как по ступеням,
в осенний сад, к таинственным растениям,
где не поймёшь, кто мёртвый, кто живой.**

Когда убитые враги со мной объединятся,
мы будем вместе пить вино в одном большом кругу.
И я кому-то расскажу, какие сны мне снятся.
Он будет с пулею в виске, а я с ножом в боку.

Он, несомненно, не забыл, и я конечно помню,
что между нами смерти лишь густое естество.
Но что – то тихое вокруг обоих нас огромней:
сильней, чем ненависть моя и ненависть его.

Чем наша древняя война за место под оливой,
за женский взгляд и за сухарь, размоченный в воде.
И потому никто из нас уже не смотрит криво,
поскольку оба мы – никто и вместе мы – нигде.

Грязноватый Израиль раскрылся пред взором моим,
обступили меня низкорослые белые зданья.
Вместо чести и верности – жаркий костёр обладанья,
талмудической истины синий расплывчатый дым.

Тут судьба пресеклась, как багровая блажь кумача,
от эпохи к эпохе не в силах была протянуться.
И в горячей постели так трудно бывает проснуться,
чёрной матрицей сердца о гулкие рёбра стуча.

В пространстве этом замкнутом и узком,
где под ногами вся земля горит,
не много смысла говорить на русском,
когда вокруг свирепствует иврит.

Дана свобода лишь воспоминаньям
о жизни той, что мною прожита.
И мысль моя длинней, чем расстояние
от звёзд шестиконечных до креста.

Опять каштаны расцвели
в тенистом парке возле дома,
и так зовуще и знакомо
поют залётные шмели.

Двойник румынского царя
над головами меч вздымает,
но судеб больше не ломает,
страны историю творя.

И я оцепенев стою,
прохладой утренней объятый,
прозрачный воздух горьковатый
в любовной судороге пью.

Нас всех смело, и лишь проплешины
в траве за окнами черны.
Сквозняк плутает, как помешанный,
в кругу вселенской тишины.

Мы так исчезли незамеченно,
как в полночь угнанный «Москвич»,
невдалеке от Пересечина
и от посёлка Гидигич.

Я поколение настиг
в бензиновом чаду.
Нёс заплетавшийся язык
всё ту же ерунду.

Был жар как в доменной печи,
и я не знаю как,
но водку с привкусом мочи
здесь пили натошак.

Кто всё оставил за бортом
и всё пустил ко дну:
аптеку, кладбище, роддом
и бывшую страну.

А те тенистые дворы,
где я гулял весной,
теперь далёкие миры
в Галактике иной.

Решили раз изгой всех племён
построить рай в одной дыре проклятой,
и двинулась колонна без имён –
кто в пиджаке, а кто в дохе с заплатой.

Тот книгу нёс, а тот – волок ведро,
на всех углах расплёскивая воду.
И выглядела дико и пестро
народа тьма без признака народа.

Как будто древний Вавилон воскрес,
на сотне языков бубнили глухо,
и был похож тот человеческий лес
на образец расколотого духа.

Был воздух обжигающим на вкус,
в прорехах вся чумная ширь лежала,
и содрогнулся тот, кто не был трус,
когда судьба друг к другу их прижала.

Молчал тоскливо узкоплечий вождь,
прямой потомок поколений сивых,
пока на сердце проливался дождь
воспоминаний страшных, но счастливых.

Черный день за ближним поворотом
С ножичком в кармане... Что, не ждал?
Он застиг врасплох меня, чего там,
Над моей судьбой возобладал.

Вот застыл, брелоками играя,
Элегантный с головы до пят.
Объясни: зачем в преддверье рая
Злобно так прожекторы слепят?

Щупальцами глаз меня не щупай –
Мой пятак последний не фальшив.
И стою я под огромной лупой,
Полумёртв, а может, полужив.

Как будто заперты в чулан,
и матово белеют лица.
Мы – беженцы из разных стран,
нам не дано договориться.

Из пеплом затканых эпох
сошлись во имя и во слово.
Спеши, народ-чертополох,
взойти из мёртвого былого.

Лишь боль поди утихомирь,
в душе растущую некстати,
как заключённая в квадрате
нули глотающая ширь.

Сюда навек заключены –
вражда со всех сторон.
И отбиваться мы должны
от варварских племён.

Горящий, алчущий Восток,
вселенская тоска.
И мозг, как высохший листок,
от солнца и песка.

Какой-то исполинский гнёт
прессует хлеб в мацу,
и пеплом ностальгия льнёт
и к сердцу, и к лицу.

Ты никуда не едешь:
так было решено,
и потихоньку бредишь,
уоставившись в окно.

Уже холодновато,
застыл сквозняк в углу,
и липнет ночь, как вата,
к оконному стеклу.

Вдруг огненные всплески,
расположившись в ряд,
ползут по занавеске,
по потолку скользят.

И ты летишь в короне
из золотистых сфер
над морем космогоний
и водопадом вер.

Сверкающей долиной
за дымкой голубой,
и нету пуповины
меж миром и тобой.

Изыди, сновиденье,
чей слабый голос лжив.
Похоже на паденье
признание «я жив».

В плену всё тех же линий
с подушкой в головах.
И снега алюминий
на чёрных деревьях.

Я прошёл по осеннему саду
прямо в молодость – яркий мой сон.
Словно белый просторный балкон
тёмных комнат замкнул анфиладу.

И какой-то отчётливый свет
обнажил все изгибы былого,
как внезапное меткое слово,
для какого случайности нет.

Это был моментальный обзор
целой жизни, как будто на сцене:
близость с женщиной, смерть и рождение,
взлёт стремительный, мелкий позор.

Для чего о любви я мечтал
и хотел от тоски удавиться?
Неизвестно; скрипит половица.
Не хочу больше думать, устал.

Я почувствовал запах полыни,
мне послышалось пенье стрекоз,
и долина, хмельная от роз,
с чёрным озером посредине.

Узнаю этот солнечный стон,
карнавал обезумевших пятен.
И в любовной тоске необъятен
на зрачок налетевший фотон.

И утраты теряется суть
возле ивы, согнувшейся вдвое,
где надеется чувство живое
неразъёмную смерть разомкнуть.

Бессильней, чем травы дрожащий локон,
пугливый свет.

Уходит жизнь, как поезд мимо окон –
мест больше нет.

В разброде чувств, как молния мгновением,
в живом кольце,
куда, блуждая по слепым вселенным,
прийти в конце?

Там в тишине, забытой и нездешней,
в саду пустом
висит туман над сломанной скворешней
часу в шестом.

И дремлет пруд, как молодость, белея,
а за спиной
в сырой траве сплетается аллея
одна с одной.

Лампочка коптит, как папироса.
Кашляя и бормоча под нос,
Явится ко мне тоска без спроса,
Как свидетель важный на допрос.

И она же, главная истица,
Тычет пальцем сморщенным, худым –
Отчего посмел я насладиться
Счастьем, когда был я молодым.

Мать-тоска, несправедно ты судишь,
Тонкую плетя интриги сеть.
Радость сердца больше не разбудишь,
Даже если очень захотеть.

Не забьется жарко и влюбленно
На закате праздничного дня.
Заявляю – это незаконно,
В радости подозревать меня.

Мать, скажи мне, уже не болят суставы?
Это значит, лекарства тебе не нужны.
Опустилась в песок золотисто-ржавый,
Почву чуждую, чуждой страны.

Но из тела, изношенного, как сорочка,
Ускользнула в такую бездонную даль ...
Ну, приблизься хотя бы на полшажочка,
Посидеть хоть минуту с тобой нельзя ль?

«Я умру», – сказал отец.
Странно даже и представить.
Он хотел бы, как певец,
мне хоть песенку оставить.

И летит душа туда,
где лежат её истоки:
в толщу зарослей осоки
возле чёрного пруда.

Вот и стукнуло уже сорок два,
как кастетом за углом по виску.
И поэтому болит голова,
и кольнуло где-то в левом боку.

Там бессонницей бессрочной грозя
за столом сидит, а локти вразброс,
то, в котором усомниться нельзя,
моё прошлое в дыму папирос.

И опять я в опустевшем саду,
где на листьях красно-жёлтых вода,
может быть, в семидесятом году
слышу робкое и нежное «да».

Щёлкнули тонко часы,
выдохся жизни прибой.
Вечером после грозы
тянет покончить с собой.

Слишком уж много утрат,
чтобы спокойно смотреть,
как упадает закат
в сад, облетевший на треть.

Как покидают свой дом,
молча скользнув по траве,
где-то за чёрным прудом
тени знакомые две.

ПАРАД ТЕНЕЙ

1997-2000

Если тени, рассеянные по небытию,
соберутся ко мне забрести,
загляну я как следует в душу мою
в тот же вечер – часам к шести.
И я выберу место действия: сад
или холм приозёрный, где
наклоняется университетский фасад
в направлении к чёрной воде.
Ибо факт этой встречи – он так велик,
что траву пронизала дрожь.
И когда пролетает за бликом блик,
может именно их ты ждёшь,
предвкушая явление – парад теней,
где любая деталь важна.
И поэтому, не зажигая огней,
молчаливо сидишь дотемна.
Под трепещущих листьев аккомпанемент
и мигающих мыслей ток
до тех пор, пока в некоторый момент
не взлетают они на восток.

Во сне прихожу я в какой-то дом,
где лестница вьётся винтом.
Из комнаты в комнату перелёт,
кубический переплёт
в раструбе невиданных перспектив
речитатив.

Есть дом, где сгущается пустота
в нездешнюю благодать,
хоть призрак не тот и тень – не та,
но прежних не воссоздать,
и тем, что расценивается как мечта,
здесь хочется обладать.

Ведь явь – ты согласишься? – не грань бытия,
и, в общем-то, я убеждён,
что если развеялась узость моя,
и смысл мой освобождён,
то это, пожалуй, и есть колея,
пройти по какой я рождён.

От сизого пепла – палящей среды обитанья,
где воздуха лёгким хронически недостаёт,
не дальше до неба, чем нам – от войны до братанья,
когда скорпион бедуинскую песню поёт.

Так значит не выверт – туманное марево муки,
какое ползёт желатином из впадин ноздрей.
Симфония жизни, не помня о Брамсе и Глюке,
в сплошной абсолютности истин бесспорных мудрей.

Но я не мудрей, чем немое моё отраженье
в том облаке света, откуда я выпал во тьму.
И ежели суть существует, то это – скольженье,
движенье навстречу бессмертному сну моему.

Душа, не боли.
Хоть выдумка, впрочем,
ты всем средоточьем
растёшь из земли.

Желудок, ты – явь.
Пускай эфемерен,
страданьем промерен,
но жить предоставь.

Зачем вы, глаза?
Прочесть телеграмму
про чёрную яму
и вход в небеса.

Один в бесконечном ряду:
нелепое дело, бесспорно.
Мы все – безымянные зёрна,
прозрачные точки во льду.

А может быть, тени в саду,
глядящие в небо упорно,
а может быть, искры из горна
в каком-нибудь новом аду.

Под знаком великого «жить»
мы, точки, сливаемся в массы,
чтоб нации, этносы, расы
историю стали вершить.

Чтоб смысл обрести пустоте,
застывшей в хрусталике глаза.
Вселенское бремя экстаза
очистить в любовной мечте.

Понимая бессилие слова,
погружаясь в его немоту,
мысль дремучая мается снова,
постепенно сползая в тщету.

О тщета, голос муки Господней,
оголтелая ложь естества!
Но в пылающей тьме преисподней
антитеза твоя не мертва.

Как ребёнок надежда трепещет,
гул сердечный сжимая в толчки.
И фонтаном прозрение хлещет
сквозь ослепшие напрочь зрачки.

Прорва под каждым из нас,
клеток предательство всюду.
По вдохновенью и чуду
бьёт сумасшедший фугас.

Так же, как в пору отцов,
ползают войны под боком,
и в озверенье глубоко,
век абсолютно свинцов.

Точно, как в те времена,
тащат свой груз страстотерпцы,
и растворяется сердце
в чёрной амброзии сна.

Жизнь сузилась до рамок полусна.
Я, ощущая, бодрствую, конечно.
Но связь явлений напрочь смещена,
настолько время стало скоротечно.

Оно кометой ринулось вперёд,
вгоняя в транс материю живую.
А мой будильник равнодушный врёт
про то, что я, как прежде, существую.

Нет, прежний Я действительно иссяк,
и это- вывод, аксиома, теза,
как то, что режет предрассветный мрак
пронзительная нежность полонеза.

Хоть мерзостен судьбы переворот,
я не боюсь скользнуть в его воронку,
когда, как тать, подкравшийся разброд
кривым ногтём колотит в перепонку.

Правда, что жила во мне,
исчезает неизвестной.
Я над плоскостью отвесной
наклонился: что на дне?

Детство, молодость моя,
переулок Театральный,
контур прошлого овалный.
Дом, родители, друзья.

В тёмной сутолоке лип
запах сладкий до истомы,
и парящий, невесомый
белой лестницы изгиб.

Может быть, я всё забыл
и поэтому мне скучно.
Только боли не избыл,
копашащейся беззвучно.

На окраине души,
там, где дальние задворки,
или в умственной глуши,
в толще почвенной подкорки.

Но бессмысленно пенять
на судьбу, что зло искрится:
даже если всё понять,
ничего не повторится.

Даже если оплатить
безнадёжные кредиты,
на холсте не воплотить
тонкий профиль Афродиты.

Я растоптан обширностью нашего вида,
средоточием судеб под скопищем крыш.
Распростёрлась и давит меня пирамида –
не сбежишь.

Коллектив, ты ломаешь меня, как былинку,
ты меня отрицаешь, в себе растворя.
И противно мне старую слышать пластинку:
всё не зря.

Я такой же, как все? Ни за что не поверю
даже в час, когда с бомбой войдёт Алладдин.
Погасите огни и захлопните двери –
я один.

Две фигуры чёрных у дороги,
где машин сплошная толчея.
Всюду люди ...Но и мы не боги,
ничего не сделаешь, друзья.

Как свой путь прокладывают реки
к морю, приближаемся к концу.
Что известно, брат, о человеке
нам с тобой – ребёнку и слепцу?

Чуял век войны и крови запах,
не считал бессмысленных утрат.
Мы, как встарь, застыли в чёрных шляпах:
не заметно благодати, брат.

Печальны близкой старости приметы:
морщины, седина.
Уносятся не годы, а кометы,
а вот – ещё одна.

Но только вот, как чувства извратились,
как съежились, гляди.
А может, незаметно превратились
в ту жизнь, что позади.

И только страх себе не изменяет,
в открытую грозя.
Во всех грехах огульно обвиняет,
из-под окна сквозя.

Слегка как будто опасаюсь:
не занесло б на вираже.
Я фарами в туман врезаюсь
и, кажется, не сплю уже.

А клочья рваной белой плоти
смыкаются сплошной стеной.
И мокрые дрожат щепоти
меж неизвестностью и мной.

В пространстве, от воды увечном,
дорога скользкая долга.
На каждом перекрёстке встречном
я жду случайного врага.

Когда облепленный туманом
и тоже облечённый в сталь,
мой антипод рванёт тараном,
расплющив чёрную педаль.

Жизнь, на радости скупая,
чужеземный звукоряд.
Ночью тени, обступая,
мне о прошлом говорят.

Я, случается, жалею,
вспоминая на ходу
ту тенистую аллею
в старом пушкинском саду.

А знакомая развилка
так безумно далека,
что дрожит и бьётся жилка
где-то в области виска.

В разлуке – потеря,
похоже на смерть.
Разрушилась твердь:
во что я поверю?

За Родиной вслед
и мать улетела,
будить не хотела,
проснулся – и нет.

Подруги, друзья – все в разные страны,
не вспомню лица.
Качаюсь, как пьяный,
и жалко отца.

Выветриванье душ от возраста и скуки;
куда себя девать – не в шутку, а всерьёз.
И вот однажды в ночь в уборной режут руки,
царапают лицо и давятся от слёз.

То, Родина, твоя косая тень упала
на выжженные сплошь, измызганные дни.
За то, что в энный час бесследно всё пропало,
меня неважно где, хоть спьяну, помяни.

Пыль над городом – жёлтая маска.
Помутнело в машине стекло.
Сочиняется страшная сказка,
быть в которой – моё ремесло.

Стал я ближе не к небу, а к Мекке,
к иудейской отраве приник.
Человеки кругом, человеки,
да песок – вперемешку и встык.

Он когда-то торчал монолитом,
перерезать пространство хотел.
Всё равно: быть живым, быть убитым,
лишь бы он на зубах не хрустел.

В час иссякания эпохи
не видно траурных огней.
И ветра невесомей вздохи
плывущих в сумерках теней.

Мои друзья, у лип цветущих,
что задремали на холмах,
о близости удач грядущих
нам больше не мечтать впотьмах.

В кругу тропического зноя
всё так меняется в цене,
что жизнь почти как паранойя,
не излечимая вполне.

Логика крысиная ясна –
вырваться из солнечного света,
и скользнуть хвостатую кометой
в мир иной, в другие времена.

Где, конечно, не грозит война,
хлопая стрельбой, как парусиной,
но согласно логике крысиной,
жизнь твоя вполне защищена.

Слыша философствующих крыс,
ощущал я внутреннее сходство:
может быть, душевное уродство
и меня заманивает вниз.

В тишину без края и конца,
в сумерки, глубокие как норы.
Сжать внутри общины, стаи, своры
в сердце многих многие сердца.

Мой праотец, одетый в шкуры,
в пространстве, заданном судьбой,
путь человеческой культуры
не замкнут мной или тобой.

Её мучительные роды
сменили приступы тоски,
когда безумные народы
дробят планету на куски.

Машин пронзительные крики,
научно-электронный гроб.
Мы оба абсолютно дики,
мой праотец – питекантроп.

Убывают чувства понемногу,
превращаясь в жалкое рваньё.
Только страхи возвращают к Богу,
по ночам вопя, как вороньё.

Это правда: я устал бояться,
по привычке жизнью дорожить.
Если страхи в сердце не роятся,
смысл теряет ощущение «жить».

Может лучше в зыбкости рассветной
из вагона в блёстках конфетти
безбагажно, тихо, безбилетно
на последней станции сойти.

Вспоминаю путь мой длинный
без начала и конца.
Хмурый, как роман старинный,
сплошь от первого лица.

Где лишь мысль моя, как тройка,
в снежную ныряет мглу,
и одна чернеет койка,
опустевшая в углу.

Где же вы, мои желанья –
гулкие колокола?
В двух шагах за тонкой гранью
прожитая жизнь легла.

Вижу все её детали,
смысл таинственный – в любой.
Словно сетка на эмали,
чёрная – на голубой.

Вот склоняется над бездной
век – таинственный мудрец,
обезумевший творец
воли ядерно-железной.

Мёртвым знанием своим
рвёт он души, как щипцами.
И разрыв между отцами
и детьми – невосполним.

Что почудилось, когда
вытянулся он и замер:
газовых проёмы камер
и кремлёвская звезда.

Горячий ветер дует в спину,
как будто гонит вдаль, туда
где снег ложится на равнину,
и воют в голос провода.

«Хамсин» – безумная повадка,
и пышет жаром из окна.
Что бедуинская палатка,
что небоскрёб – одна страна.

Но холодно, когда итожа
тоску ненаступивших дней,
помчится, как мороз по коже,
луч близкой старости моей.

Я вырос в республике пьяной,
где тесно от горьких озёр
и в тёплую полночь каштаны
душевный ведут разговор.

Но едкую горечь вдыхая,
я понял, что был в забытьи.
И выпала трезвость сухая
мне в зрелые годы мои.

Эдем и его филиалы,
за взрывом – ещё один взрыв.
Кривые, гнилые кварталы,
утроба твоя, Тель-Авив.

Прошлое – волшебная шкатулка.
Смотришь внутрь, а видишь высоту.
В тишине кромешной переулка
я нашёл забытую мечту.

На столбе лишь лампочка мигает,
в парке песня старая слышна.
И меня почти не отторгает
от себя – любимая страна.

Слабый ветер, спящие каштаны,
по-июньски сочная трава...
Тихо так, свежо и первозданно,
что, конечно, мать моя жива.

Я был человек знаменитый
для нескольких мёртвых теней,
но вычеркнут смысл позабытый
какой-нибудь кривды моей.

Чем дальше, тем тоньше граница
страны под названием «явь».
В пространство сойти со страницы
несложное дело, представь.

А там молчаливые грёзы
и встречи счастливые ждут.
Рябины мои и берёзы
со мной повидаться придут.

Кишеньке атомов – реальность естества,
Где смысл имеют лишь инварианты.
Галдят теории, фальшивые гаранты
Того, что правда явь и совесть не мертва.

Мой дух – извилистых понятий проводник,
Опора хлипкая всей истинности мира,
Сознайся: тело – блеф, лишь съёмная квартира
Для тех, кто выдохся и в тайну не проник.

Там клетки пёстрые дробятся на куски,
Как люди женятся, крадутся, убивают.
Клянутся совестью, что проще не бывает,
Чем в ночь бессонную свихнуться от тоски.

Обступила времени трясина,
Хлюпая, ворочаясь, хрипя.
И судьба аккордом клавесина
Заскользила вдоль самой себя.

Пасмурная древняя морока,
Сочинившись в утреннем бреду,
Складно лжешь про то, как одиноко
И свинцово по земле иду.

И в канун какого-то сегодня
Созидаю крылья, как Дедал,
Чтоб из этой жизни преисподней
Упорхнуть бы я не опоздал.

Палестинцы у костра
в ключьях сизого тумана.
Ни цыганского шатра,
ни залётного цыгана,

ни молдавской толкотни
в Кишинёве возле рынка.
У костра стоят они –
на одном из них косынка.

Вот такой судьбы каприз,
так на свете происходит:
вместо клёна кипарис,
а вокруг убийца ходит.

Только пекло много лет
вместо льда, что въелся в глину,
только выветрился след
тех, кто звал нас в Палестину.

Словно в пошленьком кино –
бедняки и кровососы,
и в глазах моих темно
от арабского вопроса.

Исподволь на них взгляну:
вот комиссия, создатель!
Чувствуешь свою вину?
нет, не чувствую, приятель.

Знаю, я тебе не люб,
ненавистен до зарезу.
Но ведь я не душегуб
и в автобус твой не лезу.

Живое к живому – такой закон,
теснее, ещё тесней.
Так любят друг друга она и он,
друг друга находят он с ней.

Не разум, не воля и не мечта,
так клетки мои хотят.
И к мыслям подкрадывается красота
и топит их всех, как котят.

Я знаю – уже не родит она,
бесплодный порыв жесток,
но мне эта древняя ложь нужна,
как ржавой воды глоток.

Покосилась решётка оград
На погосте глухом у завода.
Исходила блаженством природа,
Совершая свой майский парад.

Как в старинном музее, смотрел
Я вокруг, проходя беззаботно.
Под кустами, растущими плотно,
Отпечталось слово “ сгорел ”.

В этом богом забытом углу
Отрицалась любая утрата,
Лишь светилась роса в три карата,
Да стволы источали смолу.

Вдруг пронзительно вскрикнул состав,
Уползая в Тирасполь лениво,
И откликнулась птица счастливо,
Полсекунды спустя перестав.

Радость жизни, ты снова права,
Хоть есть тот, кто со спазмами в глотке
Прислонился к железной решётке,
Видя вбитые в камень слова.

Полезет в ноздри газ угарный,
А пыль набьется в рот.
Так вот он – год мой календарный,
Двухтысячный мой год.

В конце времён пришлось родиться,
А не пасти свиней.
И опыт предков не годится
Для этих грозных дней.

Дорога светлая, прямая
Нас вывела ко рву.
И я уже не понимаю
Зачем же я живу.

Возможно, ради этой ветки,
Какую ветер гнёт.
Пока мои слепые клетки
Он в ночь не зашвырнёт.

Итак, родиться в Молдавии,
чтоб душу отдать в Америке,
Где-то в больнице в Бруклине, от моря невдалеке.
В железной её стерильности неуместны истерики,
И вены переплетаются на пожелтевшей руке.

А может быть, лучше где-нибудь
в израильском поселении
*Пулю поймать залётную по дороге домой.
Услышать во сне тягучее на древнем иврите пение,
Когда трава пробивается сквозь ржавый песок зимой.

Но мне бы хотелось всё-таки, уже ни о чём не ведая,
Заснуть на Скулянском кладбище, где не хоронят давно.
Трава там почти до пояса. У памятника беседа,
Присядут два молдаванина и выпьют своё вино.

Бессильно сам в себе копается,
Смещая смыслы, как маньяк.
И в плоть душа не облекается,
Себя не выберет никак.

Ей жутко от сплошной конкретики –
Растиражировать, издать.
И к тайне рвущейся генетики
Она не в силах обуздать.

О органика, мощи твоей я подвластен –
Я несчастен.
В мире клеток, машин и растений
Кто блаженней?

В этой толще, прожжённой гудящим рентгеном,
Как в аду гомогенном
Ощуцаю физически сырость подвала –
Вот Валгалла.

Тихой жизни творя ритуал,
Заодно и ничтожный и вечный,
Не дрожи если около встал
Призрак грозный, как мастер заплечный.

Ты на землю пришел, как Христос:
Испытать высоту и бессилье,
Но конечно не ангел вознес
Над тобой шелковистые крылья,

Он судьбу для тебя смастерил
По какому-то дикому плану,
Но не зря же ты боготворил
И ему поклонялся не спяну.

Вопросы вечные с их жёлчной простотой
Стоят, как некогда, лишённые ответов.
Напрасно морщит лоб процессия поэтов:
Давно не верует потомственный святой.

И мир, трагической наукой залитой,
В экранной сутолоке, в тине интернетов,
Во тьме египетской лежащий фиолетов,
Людьми плодящийся и всё-таки пустой.

Вон в подсознание по лестнице витой
Обратно в прошлое, в свечение рассветов,
Где под акацией, весь в мареве сонетов,
Завис над кровлей старой век мой золотой.

В чём же он, смысл абсолюта?
Время кончается, глянь.
Лишь прожигают минуты
Неба беззвёздного ткань.

И совершенно некстати,
Словно всё это – игра,
Тихо скользит по палате
Твой поводырь – медсестра.

Где они – сны золотые,
Долгие, светлые дни?
Если зачислят в святые,
Как-нибудь мне позвони.

Плоть слегка поизносилась,
И не стоило бы впредь,
Как бы совесть ни бесилась
В яму зеркала смотреть.

Где лишь дыры возле дёсен,
Ветошь плоского лица,
Никаких далёких вёсен –
Близкой старости грязца.

Выползайте же на сцену
Немощи из всех углов.
Сочиняйте вдохновенно
Свой последний часослов.

Пустоцветом у забора
Не хочу во тьме белеть.
Откреститься б от позора
Перед тем как околеть.

Хоть зарплата регулярно приходит в банк,
Не становится на душе легко.
Скоро мы услышим, как стреляет танк:
Это недалеко.
И лёжа в кровати, горячей как печь,
Взором хрипящий телевизор долбя,
Как свою принимаешь чужую речь,
Льющуюся в тебя.

Остров Израиль – горящий барак,
Чувствуешь, как надвигается мрак?
Коль по степи на машине не едешь,
Снайпера вряд ли в ночи обезвредишь.

Слышишь, он в небо молитву вознёс?
Жаль, что ты череп ему не разнёс.
На голове твоей жёлтая каска,
А на лице его чёрная маска.

Тихо вползаем мы, просто враги,
В чёрный Хеврон, где не видно ни зги.
Враг, ты косынку пятнистую носишь,
Ты никогда меня в море не сбросишь.

И я разбитой клянусь головой
В том, что мой прадед святее, чем твой.
Не зашвырнёшь ты мои чемоданы
В жёлтую, мутную глуть Иордана.

А в глупости страусиной
Замешены мы гуртом.
И вот потянуло псиной
На завтра и на потом.

Война – мы её не звали,
Но всех головой о дверь.
И вот ты лежишь в подвале,
Хоть в это во всё не верь.

Лишь прежняя жизнь маячит,
Вотще волоча разброд.
Она ничего не значит,
А впрочем – наоборот.

Друзья мои, мы разбрелись по свету,
Но всё-таки, что разметало нас,
Оставив только жёлтые газеты
С размытыми портретами “анфас”?

Не та ли это древняя повадка,
Что жаждой счастья так томит весной
И к декабрю в преддверии упадка
Виски нам заливает белизной?

Не та ли это бешеная сила,
Гудящая рапсодия земли,
Что отобрала всё, чем оделила,
Заставив жить от Родины вдали?

Вселенский холод, знаю, неминуем.
Давайте ж за секунду до зимы
Любовь свою, друзья, ознаменуем
Молитвой сердца безымянной мы.

Мы с тобой в такой стране,
Где исчезнуть – не проблема.
Наяву и на войне
Смерть – естественная тема.

И часам настольным в такт
Я невольно размышляю:
Смерть вполне законный факт,
Хоть я сам и не стреляю.

Стрелки тонкие дрожат,
Комариные отростки.
И убитые лежат
В двух шагах на перекрёстке.

Я слежу за стрелками будильника:
Бесконечна эта беготня.
Каждый час, как ненависть насильника,
Выжигает время из меня,

Что пускай и до изжоги скверное,
Но в конце захочешь удержать.
А оно едва ли безразмерное,
Оттого судьбы не избежать.

Оттого-то тяжелее дышится,
Даже если выйти ночью в сад.
И на пальме ветка не колыхается,
Как на липе сорок лет назад.

Никакая дисциплина
Не спасает, милый друг,
Если пуля, как маслина,
Застревает в глотке вдруг.

Не на чёрную дорогу
На машине легковой,
А уносишься ты к богу
По какой-нибудь кривой.

Прямо к светлому пределу
В ослепительный чертог.
И твоё достанет дело,
Заблестев очками, бог.

Пыль, кряхтя, смахнёт с обложки,
Сам на бога не похож.
В час, когда ты по дорожке
В сад божественный идёшь.

ПЕРЕКРЕСТОК НОЛЬ

2001-2005

Когда, одурев от невроза,
Ты гадок себе самому,
Великий маэстро Спиноза
Не даст тебе кануть во тьму.

Он учит, что Бог неизбежен –
Везде его крылья парят.
Твой внутренний ад обезврежен,
Есть вечность – тебе говорят.

Проблему познания решая,
Всю ночь я смотрю в потолок.
Ведь вечность такая большая,
Пусть выделит мне уголок.

Устал я от скуки и прозы,
Мне в горло не лезет кусок.
Великий маэстро Спиноза,
Твой тоненький голос высок.

Сегодня что-то важное
увидел я во сне:
была подушка влажная
и солнце на стене.

Все в утренней прострации
застыло на миру.
И трогал я акации
шершавую кору.

Тени сходятся косые
там, где черная кровать.
За окном кусты босые
перестали волхвовать.

Эта пальма, как сиротка,
на земле возшла святой,
и вливается мне в глотку
кипарисовый настой.

В форму новую отлился,
к древней истине прильни,
чтоб в песке зашевелился
прах таинственной родни.

Когда подступает рутина,
примета пятидесяти лет,
ты снова с упорством кретина
блажишь, как бубновый валет.

Довольно, не стоит усилий:
все лучшее ты испытал.
Влетит она, сна легкокрылей,
чтоб утром ты с койки не встал.

Чтоб кончилось это похмелье,
морока нелепая вся,
хлебнешь приворотное зелье,
а там уже день занялся.

Не пишется – такая пустота.
Кромешный зной, последняя черта.
И рокового времени приметы,
кровавый бред впитавшие газеты.
Готов ли к смерти? К жизни не готов,
и снится мне ночами Кишинев.
Прозрачный воздух, озера пятно,
его поверхность, сердцевина, дно.
Тот переулок, где пришлось родиться,
и парк, в котором можно заблудиться.
Спешу домой, где точно – мать с отцом,
чтоб с ними перекинуться словцом.

Ты согласишься, я не пью,
мину скорбную не строю,
просто хочется порою
выть у жизни на краю.
От предчувствия того,
что зовется увяданьем,
бесполезным ожиданьем
и бессмыслицей всего.
Разве только тень мелькнет
где-нибудь на перекрестке,
в полночь на стенной извеске
сокровенный слог черкнет.

Если что-то есть во мне,
то оно пришло оттуда,
где узоры на окне
или детская простуда.
Где еще живой мой дед,
мерно досточку строгают,
и косою блестящий свет
ночь на блики разлагает.
Там, где утро, первый класс,
материнский взгляд вдогонку.
Всё, что по закону масс
разом ухнуло в воронку.
И стоишь, как Гулливер,
персонаж из детской книжки,
бывший юный пионер,
задыхаясь от одышки.

В эпицентре цветущего лета,
из-под тесно сплетенных ветвей,
долетел отголосок сонета,
что заводит с утра соловей.
Бесшабашней, сильней, сокровенней,
чем в апреле, в зените весны,
где-нибудь над кустами сирени,
и как будто часы сочтены.
Ностальгия, стоишь на перроне,
ожидая, глядишь в никуда.
Погружаются в август ладони,
и дрожит голубая вода.
Рецидив ли? Не ведаю, право.
Я вернулся, усталый и злой,
чтобы впрыснуть счастливой отравы
металлической тонкой иглой.

Воздух желтый и щербатый
распластался пеленой.
Ты ли, ангельский глашатай
древней истины земной?
Тело, тонкое, как пена,
выжег ядерный раздрай.
Продолжает выть сирена,
где под притолокой – рай.
Воспарит над занавеской
свечку сжавшая рука,
перестанет бить железкой
в костяную плоть виска.

На песчаную дорогу
сколько кровь мою ни лей,
станет только в мать и в бога
сердце бешеной и злей.

И серебряною прядью
ни к чему кичиться тут,
где над выжженною гладью
вьюги желтые метут.

Где решают только ружья,
их отрывистый приказ,
да стальные полукружья
вертолетных черных глаз.

Лист зеленеющий остроугольный
в теплой волне голубой,
ты понимаешь, конечно, как больно
мне расставаться с тобой.

Старое озеро, ясность сквозная,
тихих аллей торжество.
Нет, разлучаться не хочет, я знаю,
нежное это родство.

Все это, видимо, страшно некстати,
словом, вполне ерунда.
Тут бы уснуть на траве, на закате,
глухо как эта вода.

Здесь когда-то еще мальчишкой
над озерной стоял водой,
он теперь господин с одышкой,
полноватый и весь седой.

Вот так шутку сыграло время,
без разбега, метнувшись, вплавь.
Возвращаешься к этой теме
против воли, мгновенно, въявь.

Позабудешь свой образ важный,
свою виллу и кадиллак,
чтобы стыть в темноте овражной,
подложив под висок кулак.

Где так черна смородина
и тополя нежны,
опять мне снится родина
на дне другой страны.

И словно во спасение
является тогда
спокойствие осеннее
холодного пруда.

Дрожит листва, готовая
на мокрый камень лечь.
И чувство бестолковая
не разъедает речь.

От банальности не скрыться
никогда, нигде, никак,
но едва ли стоит биться
головой о косяк.

Ты – конструкция земная,
выполняющая план,
как мгновенная стальная
истина – аэроплан.

Где подогнаны все части
энтропии вопреки,
и находятся во власти
человеческой руки.

Только в темном переулке,
где акация в цвету,
не препятствует прогулке
привкус горечи во рту.

На ионы не дробится
в сумасшедшей маете,
вечность ласково клубится
в каждом крошечном листе.

**Банальный возрастной синдром,
назад пронзительная тяга,
в мозги кидается, как брага,
какой-нибудь аэродром,**

**и совершается рывок
вразброд, к квартирному вопросу,
калитке, вывихнутой косо,
на милый детства островок.**

**Где горлопанит воронье,
и мокрые желтеют пятна,
и поджидает, вероятно,
жидовство клятое твое.**

**Какой бы дорогой ты ни шел сюда,
Время размыкает твои провода,
Когда-то смутно брезживший день суда
Превращает в реальное дело.**

**Ты скажешь нет или скажешь да,
Не будет значения иметь тогда.
Никакого капитала, никакого труда
Не хватит, чтоб купить тебе новое тело.**

**Неважно, что будет – пятница или среда,
Не узнают друзья, разойдясь кто куда,
Хоть над крышей про это поют провода,
Что я отбыл без господа к беспределу.**

Я бы мог остаться там,
где родился. Это случай,
вывих совести дремучей,
никому не нужный хлам.

Остается лишь дышать
Смесью воздуха и света,
Бестолковый век поэта
До конца опустошать.

Года построились как числа,
Но стройность ложная во всем.
Последние остатки смысла
Мы теоремой не спасем.

Так осыпается песчаник
Под башмаками на ходу,
И муки музыке изгнанник
Внимает, как Орфей в аду.

Слова выплевывать из глотки —
Смешной мартышкин труд.
С годами накопил ты шмотки,
Но близок Страшный суд.

Плотней усталости завеса,
Бессмыслицы налет.
Как неоконченная пьеса
Про черный самолет.

Так видят по-другому вещи
с годами, как лежат на дне,
и пустота страшней и резче,
чем надпись кровью на стене.

Душа себя перемогает
в холодной комнате с утра,
и изжитая жизнь шагает
из опустевшего двора.

Ромео

Джюльетта стройная и смуглая,
ты родилась опять.
Заставит грудь твоя округлая
сильней тебя желать.

А мне забытому, усталому,
полсотни лет почти.
Скользит мой взгляд по платью алому,
что хочешь в нем прочти.

Она веселая, надменная,
уносится в зенит.
Любовь – разбитая вселенная,
пусть бог тебя простит.

То, что делало ум уникальным,
испарилось, исчезло, как дым.
Незаметно ты станешь седым
и во взглядах таким радикальным.

Перед тем как душа-орхидея
окунется в языческий сон,
где скитается снова Язон
и тоскует царица Медея.

Там, где пыль на всех предметах
и один большой хамсин,
в черных стоптанных штиблетах
прихожу я в магазин.

И охранник, сгорбив спину,
смотрит в рваный кошелек:
что там – пуля или мина,
или яда пузырек?

Видит желтые монеты,
три ничтожных пятака.
Так чего опять на дне ты
ищешь, жадная рука?

Не араб я, это видно,
и не слишком-то богат.
Потому мне и обидно,
что ты мне не веришь, брат.

Бессмысленно, пожалуй,
судьбу без толку клясть.
Как лист несешься палый,
но разве это страсть?

И это вряд ли мука,
знакомая вполне.
Скорей всего, лишь скука,
осевшая на дне.

И нет опорных точек,
лишь темная вода,
да пара тонких строчек,
такая ерунда.

Вспоминаем Союз, вспоминаем,
где-нибудь в Палестине, на дне.
Словно близких своих поминаем...
и увядшая пальма в окне.

Где ты, галстук смешной пионерский,
мой портфель и учебники в нем?
Я иду в кинотеатр по Бендерской,
опоясанный школьным ремнем.

Значит, это действительно было –
первый класс и последний звонок.
И окликнула мать из могилы:
ты еще не обедал, сынок.

Когда под пятьдесят
нет ничего такого,
что бы казалось ново.
И страхи голосят.

И чувства колятся
по сердцу бестолково,
и лязгают засовы,
и сквозняки сквозят.

И письма гласят
на плитах известково,
что ничего живого
вотще не воскресят.

Дождь прекратился,
стало светлей.
В плоть воплотился
мокрых полей.

Желтые краны
с лапами вкось,
как истуканы
вместе и врозь.

Черный кустарник,
ржавый песок.
Ветер-напарник
наискосок.

Жили, как крысы,
в тысяче стран.
Здесь кипарисы
и мертвый коран.

Вильнюс

Возле дома света сквозная воронка,
И никто никуда не спешит.
Только дверь распахнется и скрипнет тонко,
Как в начале, как в Берейшит.

Для того, с кем двенадцать лет не видался,
Человек я вполне другой.
Если я почему-то сюда подался,
Это случай, мой дорогой.

Пробегают зыбь по траве волнами,
Превращаясь в ночную тьму.
В пятьдесят нам известно – есть Бог над нами,
И о прошлом жалеть ни к чему.

Это признак скуки возрастной,
что души коснулась в полной мере.
Просыпаясь утром, я не верю
в правомерность версии земной.

Я из тех, кто вышвырнут волной
ни во что, сквозь запертые двери,
исчисляю давние потери
в духоте бессонницы ночной.

Может, где-то за голубизной,
возле свалки вымерших мистерий,
обретем мы – люди, боги, звери,
отпуск вечный, внеочередной.

Аркашка не дотянет
до старческих причуд,
метеоритом канет
в какой-то черный пруд.
Гора газетной мути
не стоила труда,
и в эмигрантской жути
он сгинул без следа.
В какой-то полдень сонный,
когда-нибудь потом,
сентябрь воспаленный
процеживая ртом,
бессмысленно сгребая
в охапку простыню,
мгновенно, как судьба я,
Аркашку догоню.
И выясним тогда мы,
кто был из нас не прав,
как световые гаммы,
вперед летя стремглав.
Болтая про искусство,
как в прежние деньки,
там, где светло и пусто
и звезды так близки.

За полночь проснешься ты
в темной комнате однажды,
но не утоляет жажды
жаркий воздух темноты.

Это старость все вокруг
выжгла напрочь огнеметом.
И в ответ на сердца стук
бормотать не стоит: кто там?

Словно было не с тобой,
всплеск любовного томленья
и размеченный судьбой,
жесткий вывих поколенья.

А финал уже вблизи –
здесь, на расстоянье вздоха.
В дневнике твоём, эпоха,
черный росчерк жалюзи.

Радостный голос ребенка,
эхо забытого сна.
Птица, поющая звонко,
старость – глухая страна.

Жесткий хребет частокола,
черная внутренность рва.
Детство, родители, школа –
просто пустые слова.

В этой рассыпчатой плоти
ты ли? Понять мудрено.
Как в маслянистом болоте –
топкое, жидкое дно.

Сорок восемь – это много,
Вспоминается едва
Приозерная дорога,
Липы блеклая листва.

Полусерый, полусиний
Парка дремлющего круг.
Словно жидкий алюминий
Лунный оползень вокруг.

Этот город мной покинут
В некий желтый жуткий час,
И на сердце мне надвинут
Ностальгический каркас.

Если рухнет тела клетка
В распахнувшийся проем,
Может быть, качнется ветка
В старом городе моем.

Мир открывается твой –
Тонкая, узкая щелка.
Озеро, черная елка,
Облако над головой.

Пахнет осенней травой,
Желтой сосновой иголкой,
Высохшей, острой и колкой,
И переспевшей айвой.

Стой, тополиный конвой,
Сухо ветвями не щелкай.
Хочет душа перепелкой
Взмыть над тропинкой кривой.

2006-2007

Бред системы эндокринной –
В мозге черные ручьи.
Плод фантазии старинной,
Годы долгие мои.

Вот судьба сгустилась в массу,
Излучающую свет,
Под которым вьется трасса
Всех пятидесяти лет.

Я страну покину скоро
Изувеченной мечты,
Где засохшие озера
Как разинутые рты.

Церковь – белая невеста,
Век неведомо какой.
В переулках Бухареста
Время трогаешь рукой.

И когда проходишь мимо
На дряхлеющих домах,
Спит оно несоскоблимо,
Как безумие в умах.

Тихо крестятся в трамваях
И в автобусах, – везде.
Там история прямая
Преломилась, как в воде.

В глубине его кварталов,
Где угрюмы этажи,
Длинный свиток распластала
Повесть истины и лжи.

Как под линзой телескопа
Померещилась живьем
Вся восточная Европа
В гордом сумраке своем.

Люди мы – общеизвестно,
Люди – больше ничего.
Вдоль и вширь растет отвесно,
Дико, почвенно, древесно
Наше странное родство.

Я устал вмещаться в тело,
Говорю начистоту,
Потому что надоело
Вклиниваться оголтело
В глубину и пустоту.

Мы – божественные строчки,
Ощущаю всем нутром.
Норовим дойти до точки,
Вырваться из оболочки,
Догореть поодиночке
В ночь над праздничным костром.

Безнадежно память затвердела,
Не желает образы творить.
Ностальгия покидает тело,
Для чего о чувствах говорить?
Но пройтись по улице заветной
Или только тенью проскользнуть,
Прикоснуться к тишине рассветной
Я б хотел, хоть детства не вернуть.

Все таинственно и дико
И нацелено вперед.
Только сердце, безъязыко,
В немоте своей умрет.

И завертится по кругу
Неизведанных идей,
Где тождественны друг другу
Русский, эллин, иудей.

Где для воли нет предела
И ни в чем не виноват
Тот, чье суетное тело
Слепо веровало в ад...

Если ты, забытый Богом,
Здесь, на стыке двух веков,
Сам забыл уже о многом,
Это жизнь без дураков.

В темноте дымок табачный
Голубые кольца вьёт.
Тихий переулочек дачный
Сниться не перестаёт.

Жизнь, тебе приёмом старым
Боль к трюизму не свести.
И коньячным перегаром
Пахнет – Господи, прости.

Когда дела идут к закату,
Суть перемены налицо.
Ты в отраженье мутноватом
Не узнаёшь своё лицо.

И в поисках таблетки шаришь
Рукой по гладкому столу,
И кажешься себе, товарищ,
Ушедшим с головой во мглу.

Но не разыгрываешь драму,
Когда пускаешься в круиз,
Скользя в чернеющую яму
По лестнице, ведущей вниз.

Вот в порыве перевозданном
По сплошной кривой
Я лечу над Иорданом
И ночной Москвой.

Вижу, как звездой старинной
Кишинёв встаёт.
Мозг из перевозданной глины
Слов не создаёт.

Мчу в расхристанной рубаше,
Крылья накрёня.
За мои ночные страхи
Не казни меня.

В этом тихом, непрерывном гуле
Сны твои плывут.
Это значит: спишь на карауле –
Как тебя зовут?

Если враг к тебе подкрался ловко
В пыльных сапогах,
Не услышишь, как вздохнёт винтовка
В четырёх шагах.

Ничего не сделать, не исправить,
Смыслу вопреки.
А письмо домой к тебе отправить –
Это пустяки.

Как человеческая речь,
Рифмованная жизнь струится.
В пространстве памяти таится,
чтоб смысл на образы рассечь.

Тысячелетний кипарис,
Потомок Ветхого завета,
Отгородив тебя от света,
Над жаркой плоскостью навис.

Я в царство вечности вхожу,
Ханаанейскую долину,
Где внуку, и отцу, и сыну –
На каждого – по миражу.



Содержание

Из книги «Шаг к себе», 1970-1989 гг.	3
Из книги «У сердца на краю», 1990-1992 гг.	55
Из книги «По ту сторону судьбы», 1993-1996 гг.	87
Из книги «Парад теней», 1997-2000 гг.	119
Из книги «Перекресток ноль», 2001-2005 гг.	145
Стихи 2006-2007 гг.	163

Литературно-художественное издание

Виктор Голков

Сошествие в Ханаан

Избранные стихотворения 1970-2007 гг.

*Компьютерная верстка и фотография на обложке —
Эвелины Ракитской.*

*В некоторых случаях сохранены особенности авторского
написания и пунктуации.*



Серия Лета-А основана в 2007 году

Редактор серии – Евгений Минин

Издатель серии – Эвелина Ракитская (Э.РА)



Серия Лета-А – это книги лучших представителей современной поэзии. Публикации в серии осуществляются на конкурсной основе в результате решения редколлегии.

В серии «Лета-А» в 2007 году:

- 1. Евгений Минин. Ветви. Стихи последних лет.**
- 2. Эвелина Ракитская. Черно-белый романс.**
- 3. Виктор Голков. Сошествие в Ханаан.**

Заказать книги серии можно в издательстве
или у авторов

Контактные координаты издательства

e-mail: baemist@online.ru; evelin7@013.net

тел. в Москве: +7(495)-431-02-97

в Тель-Авиве: 077-420-03-60, 0544-953-961

Сайт: <http://www.era-izdat.com>

ISBN 978-5-98575-247-2



9 78 5 985 75 247 2 >